

Библиотека «Комсомольской правды»



Л. Голубанов

ПАДЕНИЕ „ИЕЗУИТА“

Я. ГОЛОВАНОВ

ПАДЕНИЕ «ИЕЗУИТА»

История одного преступления



МОСКВА, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». 1965

События, описанные в этой повести, достоверны и документальны. «Иезуит» не вымышленная фигура, еще осенью 1964 года его можно было встретить на улицах Москвы.

Руководство Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР разрешило специальному корреспонденту «Комсомольской правды» ознакомиться со всеми документами по делу «Иезуита», а также принять непосредственное участие в оперативной работе сотрудников Управления КГБ по гор. Москве и Московской области задолго до того, как преступная деятельность «Иезуита» была пресечена, а затем присутствовать на допросах, беседовать со свидетелями и обвиняемым.

В повести изменены некоторые фамилии ее героев — настоящих героев и «героев» в кавычках. Время и место действия сохранены.

Тайное общество

Весна 1940 года была в Москве дружная; уже на благовещение пресвятые богородицы девчонки из младших классов нашли во дворе школы сухой островок асфальта для скакалок.

Анатолий ходил вялый, усталый, измученный весной. У него иногда сладко кружилась голова от воробьиной возни, бездонности яркого неба и, наверное, от великого поста, который тянулся страшно долго — с февраля. Пост он не любил так же, как геометрию. Но признаться в этом себе не смел. Однако в тот день он чувствовал себя больным, настолько больным, что даже не мог подавить, отогнать мысль о куске мяса, шипящем на сковороде. Впрочем, такой грех простится. Сегодня же и простится. Ведь сегодня его доклад на обществе. Это тоже секрет. Как много у него секретов!..

Мальчишкам нужны секреты. Жизнь без них превращается в плоское, бесцветное существование. Чертят танки, подводные лодки, ракеты. Чертят и прячут чертежи. Придумывают страны с придуманным правительством, городами, реками и горами, с договором о дружбе и ненападении со Швамбранией. Создают дворовые армии,

составляют карты всех подворотен и проходняков, выдумывают значки, пропуска, пароли. Растут — и секреты меняются. Тайно пишут стихи. Если кто найдет, прочтет — стыд невероятный. От стыда готов на самую жестокую драку.

А потом появляется девчонка. Девчонка как девчонка — ничего особенного. И если в «мужской компании» зайдет о ней разговор, надо отвернуться и сказать: «Верно, ничего особенного». Хотя это не так. Это совсем не так, и слова эти бессмысленны и дики. Но произносят эти слова, потому что родился новый секрет. Сверхсекрет. И когда Петька из соседнего двора первый из всех людей увидит вас вдвоем и засвистит на всю улицу, кажется, что рушится небесный свод и что ничего не остается делать, как убить этого Петьку или отдать ему свой единственный билет на завтрашний большой футбол...

Секреты — это замечательно... Они вплетены в юность, как яркие ленты. Они неотъемлемы от нее.

А у него было не так. Не так с самого начала. Сколько помнил себя — всегда рядом бабка. Рядом с бабкой — церковь. В первое время было просто интересно. У него захватывало дух от гулкой высоты купола и жаркого золота алтаря. А хор вступал так плавно, чуть слышно, словно подымаясь из глубин тишины, потом громче, громче, появлялись в голосах его торжество и власть.

Звуки эти, синий дымок кадила, тихое бормотание бабки и громкий, но неразборчивый и одновременно навязчивый голос священника были сначала странны и непонятны ему: он не видел во всем происходящем ни смысла, ни привычных в жизни связей. Он и потом не понимал всего, что происходило в церкви, но уже привык. И тут стало скучно. Бабка сердилась, то шипела зло, въедливо, то обижалась, молчала, надутая. Мать говорила: «Чем с хулиганами по дворам гонять, ступай лучше с бабушкой». Каждого мальчишку, который бежал или кричал, она считала хулиганом.

А ведь мальчишки недолюбливали его. Он был слабый, с острой, птичьей грудью, тонкими руками, тихий и хитрый. Не умел лазать на заборы, боялся собак. Мальчишки смеялись над ним, иногда давали подзатыльник: не так больно, как обидно. Часто тихони замыкаются в

изобретательство, в книги, и тогда их дразнят «профессорами». Им же все больше и больше завладевала церковь. Она как-то странно успокаивала его, отодвигала маленькие мальчишечьи заботы, а на сотни вопросов, вмещающих все краски и звуки мира, на сотни «отчего» и «где» отвечала убежденно: «от бога», «в боге». Дома бабка читала евангелие, заставляла его учить молитвы. И он начинал верить: от бога, в боге...

Настала пора, и он пошел в школу. Тут было много незнакомых ребят. Однажды он начал рассказывать им о церкви, о хоре, о блеске золототканых риз. Он рассказывал хорошо, но слушали его лишь мгновение. Загладели, задержали, закричали: «Поп!», «Поп!», «Толоконный лоб!». Он сжался весь сразу. Понял: «Надо молчать». Так родился его секрет, его постоянная, невидимая другим тень. Было две жизни: в школе и в церкви. Слиться они не могли. А если так, должен был раздвоиться человек.

Не сразу, незаметно для него самого происходило это страшное деление. Когда ему было одиннадцать лет, он уже иподьяконствовал в Никольской церкви, когда ему стало четырнадцать — подал заявление в комсомол. Приняли. Только попросили подтянуться по некоторым предметам. Он пообещал и подтянулся. Через десять лет он скажет о себе: «К 16—17 годам своей жизни я сделался фанатически верующим человеком». Он знал, что верит в бога, и скрывал это. Этот секрет уже непохож на мальчишечьи тайны. Тут уже нет места игре, потому что совесть — это не игрушка. Если человек скрывает, он боится. Так он подружился со страхом. Подружился крепкой дружбой, на всю жизнь. И это был единственный друг, который никогда не изменял ему...

Потом возникло общество. Название у общества было длинным, солидным: «Московское обновленческое богословское общество по подготовке иерархического духовенства для русской греко-кефалической апостольской православной церкви». Так в 18 лет Анатолий Прохоров, ученик 10-го класса 184-й школы Коминтерновского района города Москвы перешел на нелегальное положение. Ведь общество было, разумеется, нелегальным.

Душа нового дела — Валентин Леонидович Григорьев

ев, скромный шофер такси, а в прошлом поп, доверенное лицо митрополита Введенского. Людей Валентин Леонидович подбирал не торопясь, внимательно. Советовался. Сам решать не любил, да и нужды в том не было. Тонкие, мало кому заметные нити связей Валентина Леонидовича тянулись в Московскую епархию, к отцу Смирнову и далее и выше... Там делалась «большая политика», разрабатывалась система вовлечения молодежи в лоно церкви. А это — главное, самое главное. Это — будущее...

Компания у Валентина Леонидовича получилась как будто крепкая, хотя и пестроватая: Миша Тарханов, студент-геодезист, сын священника. Горяч, активен. Юра Терещенко, тоже студент, историк, благолепен, смирен; Вася Углов, слесарь с авиационного завода, туповат, зато молчалив. И этот вот худенький школяр — Анатолий Прохоров. Надежен, известен с 1935 года. Вот и все общество. Пусть немного, но свои, доверенные. Для конспирации (кто-то подсказал, что так обязательно сделать надо) всем придумали клички. Сам Валентин Леонидович — Галилей, Тарханов — Тотальный, Терещенко — Нечаев, Углов — Забытый. Прохоров сам себе придумал позвончее: Александр Вернадский. Теперь все было, как надо. Первый раз собрались, обсудили устав.

«§ 1. В обществе могут состоять идейно-религиозные лица, без различия пола, православного вероисповедания, лица, знающие твердо и ясно, на что они идут.

§ 2. Девизом общества являются слова: «Через смерть — ко Христу!...».

Утвердили единогласно.

Задачу общества как будто поняли все: та церковь, которая есть, богопротивна, пляшет под дудку большевиков. Надо исподволь растить свою, до самых корней истинно православную. Собирались еще и еще, беседовали, читали доклады. Сегодня доклад Прохорова.

Если судить строго, Анатолий Прохоров не имел права быть членом вышеназванного общества по той простой причине, что он не выполнял даже первых, основополагающих параграфов его устава. Он совершенно не знал, тем более не знал «твердо и ясно», на что он идет.

Девиз «Через смерть — ко Христу!» нравился ему своей решительностью и старинным, таким ужасно православным «ко», но смысл самого девиза ускользал, не давался.

Валентин Леонидович держался сторонкой, в тени. Председателем общества был Тарханов. Анатолий попробовал спросить о девизе у Тарханова, тот возмутился, замахал руками: «Как ты не понимаешь! Это прекрасно!» Ему стало стыдно, и он замолчал. Почувствовал: и этим тоже открыться нельзя. Но он уже был членом общества, накрепко был связан с этими людьми. Чувствовал — не понимал хорошо, но чувствовал, — что этим самым он уже противостоит всем другим людям, окружавшим его, что если он и не враждебен им, то наверняка чужероден. И они становились все более и более непонятны и чужеродны ему. Их дела и мечты вызывали усмешку. Иногда он даже жалел их со всей их «суестью»: Днепрогэсом, перелетами через полюс, Всемирной выставкой, «Тихим Доном», сверхтекучестью жидкого гелия...

Он знал о Пасионарии только то, что она безбожница. Эйнштейн был для него только евреем. Церковь отнимала у него золото жизни, давая взамен побрякушки молитв. И он радовался такому обмену, как островитянин времен Кука.

Вагон электрички бросало из стороны в сторону, стук колес мешал Анатолию сосредоточиться... Он сошел на станции Текстильщики, быстро зашагал от домов к деревьям кладбища. Долго плутал в тесных, узеньких тропинках среди бедных, худо прибранных могил, пока не заметил среди деревьев темные человеческие фигуры. Все были уже в сборе: Галилей, Тотальный, Забытый, Нечаев.

— Ждем тебя, Александр, — резко сказал Тотальный, — давай начинать....

— Тема моего доклада — «Исторические предпосылки и принципиальные установки будущей нелегальной церкви в СССР». — Голос был непонятно высокий, чужой. Говорил долго, повторяясь, путаясь...

К началу зимы Галилей понял, что вся эта игра может кончиться плохо, а сидеть и ждать, когда за тобой придут,— глупо. Он не любил торопливости, но здесь стоило поторопиться. Очень скоро Тотальный, Забытый и Нечаев встретились со следователем. Александр Вернадский об этом ничего не знал. В те дни Анатолий Прохоров уже числился в списках рядовых 131-го арtpолка, который квартировал в химгородке на юго-восточной окраине Бреста.

В тот четверг, когда Анатолий уезжал из Москвы, на призывной пункт Пролетарского района пришел светловолосый крепкий парень. Протянул повестку: Александр Рошин. Они были ровесниками, оба весной окончили десятилетку. Перед каждым лежала жизнь, как лист чистой бумаги. Они начали писать свои биографии в один день. Они встретились через 24 года в серой «Волге», летящей в ночи по Ярославскому шоссе.

Послушник экзарха

В пятницу 20 июня 1941 года Анатолий заболел гриппом. Пустяковое это событие наверняка стерлось бы из памяти, если бы не воскресенье, которое застало Прохорова в санчасти 131-го арtpолка. Он проснулся ночью от низкого гула самолетов, иногда прерываемого резким визгом оконных стекол. Что-то большое и тяжелое двигалось в ночном небе. Он не зажигал света. Путаясь ногами в штанах, оделся, вышел в коридор. Уже по тому, как суетились в этот предрассветный час санитары, он понял: что-то случилось. Окликнул одного знакомого ему фельдшера. Фельдшер перевел дух и, глядя куда-то мимо Анатолия, сказал:

— Война... Вот, брат, какое дело...

Сразу стало страшно. Анатолий вышел на улицу. Занималось росное свежее утро. Улица была полна движения, суеты, криков. «Никому до меня дела нет»,— подумал Анатолий, и опять ему стало страшно. Он не думал сейчас о том, что его могут убить. Может быть, впервые за свою жизнь почувствовал он острую тягу к

людям, желание быть вместе с кем-то, кто бы делал его сильнее.

Не дожидаясь солнца, запад розовел невидимыми пожарами.

В казарме никого не было. Он устало опустился на лавку: ломило суставы. Сидел неподвижно, без мыслей. Где-то далеко низко и гулко ударила пушка. Еще и еще. Анатолий вскочил, выбежал из казармы. Ему стало невыносимо находиться в здании, казалось: пушки бьют только по постройкам. В сумраке конюшни переминались три лошади. Он на ощупь отвязал повод пегой кобылы, тяжело, неловко влез и, только когда влез, вспомнил о седле. «Черт с ним, с седлом», — подумал Анатолий...

К полудню он нагнал свою батарею. Шли на Ковель. За спиной грохотала канонада.

— Куда же мы идем? — спросил Анатолия Вася Столяров, наводчик второго орудия. — Слышь? Там же бой... Куда же мы-то идем?

— Куда ведут, туда и идем, — зло ответил Анатолий, — чем дальше, тем лучше...

В их колонне народу было человек триста. Сзади шли четыре танка. В понедельник с утра над дорогой первый раз на бреющем прошли «мессершмитты». Все кинулись в кювет, в мелкую придорожную ольху. «Мессершмитты» метко били по машинам. Не торопясь, заходили снова и снова.

— Господи! — горячо шептал Анатолий, вдавливаясь грудью в сырую землю кювета. — Помогите мне, господи! Не покарай раба твоего, господи...

Двигались только в темноте. Танки отстали. Командир послал Прохорова и Столярова связными узнать, где танки: с танками было как-то спокойней. Они бродили всю ночь, но танков не нашли. К утру двинулись назад, но батарея за ночь ушла, видимо, дальше. Припекало солнце. Хотелось есть и спать. Шли краем дороги, едва заслышав самолет, прятались. К полудню встретили десятерых в штатском, сильно заросших, с оружием.

— Кто такие? — хмуро спросил Столяров.

— Та, можа, ты шпиен, — хмуро сказал, выйдя впе-

ред, грязный рыжий человек в городском кремовом пиджаке и солдатских галифе. И, оглядев с ног до головы Столярова, добавил:

— Тикаем. Тикаем, понял?

Пошли дальше. Рыжий со своей группой шел, чуть поотстав. За поворотом шоссе наткнулись на немецких мотоциклистов. Четверо немцев — здоровяки в серо-зеленых мундирах с засученными по локоть рукавами — закусывали, не слезая с мотоциклов. Прохоров и Столяров залегли. Немцы, побросав термосы, вскинули автоматы.

— Hände hoch, Ivan! — весело крикнул один из немцев.

— Ишь, какой быстрый, — прошипел Васька и выстрелил. Немец, смешно взмахнув руками, повалился на руль мотоцикла. Ударили автоматы. «Тюф, тюф, тюф», — услышал Анатолий где-то совсем рядом. Он втянул голову в плечи, все тело его напряглось, ожидая пули: «Вот сейчас, сейчас, и все. Все!» Короткий крик Васьки заставил его обернуться. Столяров лежал, закрыв глаза и приложив ухо к земле, словно слушая что-то в траве. По щеке его бежала маленькая черная струйка. «Вот и меня сейчас, вот сейчас, — пронеслось в голове Анатолия. — Зачем? Почему? Что я сделал? За что я должен умирать? Не хочу, не хочу...» Он уже не был человеком, в нем кричало животное, обезумевшее от страха. Автоматные очереди не убили его тела — они убили его душу. Не отрываясь от земли, он отбросил насколько мог далеко винтовку и стал подниматься на корточки, крича что-то гортанное, не понимая слов и не слыша себя. В то же мгновение он сообразил, что не поднял рук. И тогда он выбросил вперед сначала левую свободную, а поднявшись совсем, и правую.

«Пристрелят сейчас», — с тоской подумал он, видя, что немцы не опускают автоматов...

Его не пристрелили. На ближайшем хуторе его заперли в сарай. Унтер-офицер в красивых роговых очках обыскал его, отобрал спички, ремень и комсомольский билет. Много лет спустя Прохоров напишет в анкете: «Выбыл из комсомола в связи с пленением». Потом его повезли в Брест. Вместе с двумя десятками военно-

пленных он пилил дрова для большой офицерской столовой. Визг пил не мог заглушить близкой канонады: Брест сражался. Это раздражало Прохорова. Ему бы стало спокойнее, если бы все уже были в плену, вся страна...

Стали поговаривать о том, что пленных повезут в Польшу, а может быть, и в Германию, в специальные лагеря. Он испугался и решил бежать. Кучер повозки, на которую грузили поленья, достал ему брюки и пиджак. Днем, когда они работали, охранники — два солдата — резались в карты, пищали на губных гармошках и не обращали на пленных никакого внимания. Он уговорил кучера спрятать его в повозке, под дровами. Удрал.

Вернуться к своим, в армию — даже мысли такой не было. Он вспоминал «мессершмитты» и маленькие вороненные автоматы в руках тех, на мотоциклах. Нет, ясно, что Россию они задавят. Надо влезть в какую-нибудь щель, отсидеться, выжить. Главное — выжить.

А выжить ему было трудно. Он боялся городов: там были немцы. Он не знал и не понимал крестьянского труда и в деревне был чужим человеком. Он не умел работать и не хотел воевать. Он не мог жить, но он хотел выжить. Самая логика его существования подвела его к паразитизму. Он вспомнил московское тайное общество, первые робкие знакомства в церквях. Это был единственный опыт его жизни, опыт, определивший его выбор.

Анатолий кочевал из церкви в церковь, от священника к священнику. В местечке Жировцы под Барановичами осел в монастыре у митрополита Пантелеймона.

Митрополита видел еще в Москве. Напомнил. Угодничал. Прижился. Даже справку добыл: «Прохоров Анатолий Яковлевич, 1922 года рождения, является членом монастырской братии...» — и подпись, старосты. Такая справка — это тебе не комсомольский билет, с такой можно и уцелеть...

Со справкой перебрался в Минск, в женский монастырь. За ворота — ни-ни. Тушевался, как мог. Мысль одна: лишь бы кормили. Ведь скоро все образуется, фронт катится на восток, все дальше и дальше... Лишь

бы кормили, лишь бы смуту пережить... Трагедия Родины была для него опасным неудобством.

В Минске он узнал, что в Вильно проездом будет Сергей Воскресенский — экзарх Латвии, Литвы и Эстонии. Это была птица высокого полета, не чета Пантелеймону. Прохоров рискнул, поехал в Вильно. Встретились в монастыре. Экзарх, полнеющий 45-летний брюнет с женскими покатыми плечами и округлыми, мягкими движениями, принял ласково. Анатолий припал к руке владыки. Плакал. Говорили долго, за полночь. Вспоминали Москву, церковь на Преображенской площади, где Анатолий однажды прислуживал архиепископу. Потом заговорили о главном.

Сергей Воскресенский, бывший архиепископ Дмитровский и секретарь Московской патриархии, был осторожен и умен. Да ведь и игра стоила того. Игра была крупная. Во время отступления Красной Армии из Риги он спрятался в кафедральном соборе. Планы были далекие: сан Московского патриарха. Разумеется, после того, как Гитлер въедет в Кремль на специально подготовленной белой лошади. А пока надо было укреплять позиции. В августе 1941 года Сергей организовал «Псковскую православную миссию» — это была основа будущей Московской патриархии. Миссия старалась изо всех сил: подбирали старост и городских голов, выявляли коммунистов, комсомольцев, искали евреев, нащупывали нити, ведущие к партизанам. Использовали даже старух, доверчивых богомолков, их исповеди размножались на машинках, шли на стол знающим людям из службы СД.

Своих политических взглядов Сергей не скрывал. Протопресвитер Иоанн Янсон писал о нем: «Он не задавался анализированием того вопроса, как и почему большевизм возник и укрепился в России. Он знал только одно твердо, что этого большевизма не должно быть в России, что его нужно прогнать».

Протопресвитер не льстил экзарху. В журнале «Православный христианин» в октябре 1942 года Воскресенский писал: «Желать победы большевистского оружия — значит желать смерти не только России... это значит накликать гибель на всю Европу, на весь христианский мир... Этой победы господь не допустит. Большевики об-

речены». И не случайно псковский гебитскомиссар телеграфировал экзарху: «Канцелярия фюрера уполномочила меня передать вам благодарность за поздравление и присланный вами подарок ко дню рождения». Да, были и подарки. Много всего было... Не чурался экзарх и дел чисто мирских. Помогал сколачивать из разных подонков армию предателя Власова. Позднее в одном из писем Прохорову он писал: «С Андреем Андреевичем (Власов.— *Прим. автора*) мы имели 2-часовую беседу, вполне удовлетворившую нас обоих».

После разговора с экзархом Анатолий понял: он нашел то, что искал,— опору. Теперь можно было жить, как за каменной стеной. Попрочнее монастырской. Он стал послушником, точнее сказать — домашним слугой, иподьяконствовал, прочно вошел в немногочисленную, но постоянную свиту. И все было бы хорошо, не случись этого торжественного пасхального обеда, на котором референт службы СД по церковным делам Гегингер заинтересовался скромным послушником прибалтийского экзарха.

Чужие погоны

Так случилось, что в послевоенные годы черные дела гестапо — тайной полиции фашистской Германии — получили бо́льшую огласку, чем деятельность службы СД — политической разведки, отвечающей за безопасность гитлеровского рейха. А между тем СД была, пожалуй, самой широкой и могущественной тайной службой фашизма. Руководимая Гейдрихом, а после его убийства — Кальтенбруннером, подчиненная Гиммлеру, СД формировала свою задачу, как «лебенсгебит арбайт» — работа во всех областях жизни. На ее счету крупнейшие диверсионные акты, политические убийства, спровоцированные путчи. СД осуществляла контроль за деятельностью всего административного аппарата Гитлера, промышленностью, сельским хозяйством, торговлей. В ее картотеках уживались министры и генералы, дипломаты и коммерсанты, писатели и музыканты. Отсюда шли сиг-

налы шефам гестапо. СД была головой, гестапо — руками.

На оккупированных территориях СССР СД изучала всю захваченную документацию, архивы советских и партийных органов и органов госбезопасности, руководила контрразведкой, боролась с патриотами. Наблюдение за духовенством было лишь маленькой частной функцией СД — поскольку церковь существовала, обойти ее вниманием было нельзя. Тем более, что среди русских священников было немало противников «нового порядка», вплоть до партизан.

Референт СД Гегингер уже давно пристально следил за экзархом Сергием Воскресенским. Молебны во славу германского оружия и подарки фюреру не могли скрыть от опытного разведчика тайные и отнюдь не бескорыстные замыслы владыки. Всякое славянское объединение, безразлично, под каким флагом оно происходило, противоречило «новому порядку» и нуждалось в незамедлительном пресечении. Укрепление позиций Сергия, мечты о Московской патриархии, создание миссии — все это было полезно лишь до определенных границ, а Сергей Воскресенский явно начинал эти границы преступать. И допрос Анатолия Прохорова, который референт учинил послушнику экзарха на следующий день после торжественного пасхального обеда, лишь укрепил Гегингера в этом мнении.

Прохоров испугался не на шутку, он понял сразу: Гегингер — это серьезно. Ничего не утаил, сыпал фамилиями, датами, адресами, цитировал обожаемого владыку и перевел дух лишь тогда, когда часовой в проходной наколот на штык его отмеченный пропуск.

Спокойная жизнь отныне кончилась. Он чувствовал, что наболтал много лишнего. Может быть, признаться во всем владыке? Вышвырнет за дверь, как щенка. Подозрительный Сергей и так стал подчеркнуто строг с ним последнее время. Анатолий еще не знал, что, когда вербовщик капитан Мино нанес визит экзарху и завел разговор о том, что его послушнику было бы недурно выказать свою преданность фюреру, например, работой по сооружению Атлантического вала в легионе Шпеера, Сергей противиться не стал. Нет документов, подтверждающих

связь между двумя визитами: Прохорова — к Гегингеру и Мино — к Сергию, — но связь наверняка есть. Послушник был больше не нужен, он мог только проболтаться, помешать. «Убирать» послушника было излишне: это могло встревожить хитрого экзарха. Участь Анатолия Прохорова была решена. Новоиспеченному легионеру было предписано явиться в специальную школу в предместье Берлина Мюгельхайм. Открывалась новая страница биографии, страница зарубежных вояжей.

В Мюгельхайме Анатолия вместе с другими легионерами поместили в деревянный барак, выдали черный китель, черные брюки, ботинки с обмотками, пилотку, старая русская кокарда которой была обновлена буквами «SP». Это было бельгийское, польское, советское обмундирование, изрядно поношенное и перекрашенное. Впрочем, начальник школы капитан Раненкампф считал, что лучшего весь этот сброд, присланный с Востока, и не заслуживает...

Анатолий быстро прижился к чужим погонам. В школе его учили на шофера. Преподаватель автодела Воронин, белоэмигрант, бывший летчик царской, а потом белой армии, испытывал к Прохорову непонятную симпатию. Это было более чем странно, потому что Воронин ненавидел всех: поляков за то, что отделились от России, немцев за то, что напали на Россию, русских за то, что допустили большевистскую власть, а теперь упорствуют и не сдаются немцам, и даже царя Николая II за то, что позволил себя расстрелять.

Воронин был шизофреник, но автодело знал хорошо. Прохоров ходил у него в первых учениках. Кстати, потом, в Париже, знания, полученные у Воронина, очень помогли ему воровать автомобили...

Но, прежде чем попасть в Париж, Прохорову пришлось еще немало попутешествовать. Он строит укрепления и дороги под Римом, в Генуе, Милане, Флоренции, гоняет тяжелые грузовики во Франции, в Сулаке, возводит бункеры для подводников в Бордо. 20 декабря 1942 года Анатолий пишет Сергию в Ригу: «Хочется работать на пользу многострадаальной родины нашей». Даже Сергей подивился лицемерию своего бывшего послушника.

Следующее послание владыка получил уже из Парижа. Есть там странные слова: «...предполагается с помощью власовской армии направить меня в Москву в патриархию». Как это в Москву, когда в это время между Волгой и Доном погибали в кольце двадцать две дивизии Паулюса? Впрочем, может быть, эти слова и не покажутся странными, потому что в другой строчке он проговаривается: «...в Париже я попал в сети гестапо».

Закидывали эти сети «рыбаки» опытные. Перевестись из Бордо в Париж помог Прохорову некто Цебриков, человек биографии удивительно пестрой. Он родился в России, в 1919 году всплыл в Бельгии, учился во Франции, служил в Ватикане, потом в Вене, после того, как Франко задушил республиканскую Испанию, оказался в Мадриде. Не успели немцы поднять на Эйфелевой башне флаг со свастикой, как он примчался в Париж. Это он свел Анатолия с коллегой Гегингера — резидентом СД Фишером. И именно от Фишера получил Прохоров свое первое задание: следить за настроениями белоэмигрантов в Париже.

Прохоров начал действовать. Впрочем, ему не повезло с самого начала: одним из первых его парижских знакомых оказался митрополит Серафим — фигура, которая никак не могла заинтересовать Фишера, ибо митрополит Серафим, а точнее Владимир Иванович Родионов, был человеком, бешено ненавидящим Советский Союз, главой фашистски настроенной белоэмиграции, и его настроения были отлично известны Фишеру. Отец Серафим повел молодого legionера в гестапо и познакомил с доктором Райхлем. Доктор был очаровательно воспитан, угощал аперитивами и дешевыми сигарами, а когда захмелевший Прохоров расхваливал ему экзарха Сергия, он не смог удержаться от восклицания: «Вот бы нам сюда такого митрополита!».

Обворожительный доктор Райхль знал, что переодетые партизанами гестаповцы на Каунасском шоссе уже пустили в грудь владыке 12 пуль и, заматавая следы, пристрелили его попутчиков, шофера и даже случайно проходившую мимо девушку. Не мог не знать, ведь его коллега, полковник Шолбер, и представитель рейхскомис-

сариата Бурмейстер присутствовали в кафедральном соборе при «последнем целовании» и даже помогали накрывать голубой мантией дубовый гроб на катафалке. Разумеется, рассказывать об этом молодому легионеру было излишним, и, прощаясь, доктор Райхль лишь высказал свое удовольствие по поводу их милой беседы и надежду на то, что господин Прохоров и впредь сохранит благосклонность к скромным труженикам гестапо...

Молодой шофер из легиона Шпеера вскоре стал завсегдатаем белоэмигрантских салонов. Круг его знакомых из среды духовенства, разумеется, не ограничивался отцом Серафимом. Он беседует с митрополитом Евлонием, архимандритом Афанасием, водит дружбу с Лосским — председателем братства святого Фотия, навещает Лукиана Шамбо — настоятеля французской православной церкви. Он дает понять, что его московские связи с духовенством весьма прочны и обширны, и разыгрывает из себя страдающего борца за православие, впрочем, с легким налетом таинственности и намеками на конспирацию. Некоторое время он становится даже модным гостем: «Подумать только, он вырвался из лап большевиков!». Его знакомят с князем Трубецким, М. Толстым — внуком Льва Николаевича, скульптором Поповой, писательницей Каллаш. Перед ним проходит целая вереница людей: злых и добрых, умниц и дураков, порядочных и подлых, но одинаково несчастных, потому что «эмиграция» и «счастье» — это слова из разных языков. Особенно частым гостем становится Прохоров в доме Елены Александровны Миллер, которая жила при русской церкви на улице Дарю, в доме № 12.

И сегодня на улице Дарю русскую речь услышишь чаще, чем французскую. Правда, русская речь здесь непривычна уху современного москвича. Сначала эту мягкую стилизацию под старину (так читают детям по радио русские сказки) принимаешь как грустный юмор и только потом осознаешь, что это совсем не смешно, что ты слышишь речь мертвую, засохшую, как цветок, забытый в книге. На улице Дарю и меню в бистро печатают на русском языке. Хозяйка бистро обязательно уговорит вас выпить бешено дорогой наперсток «Столичной», на прошлой неделе полученной из Москвы, и угостит пупы-

ристым «нежинским» огурчиком, которые выращивает где-то под Верденом специально для улицы Дарю один бывший генерал от инфантерии. Она будет долго расспрашивать вас о Москве или Одессе, будет заставлять вспоминать все дома на Поварской или Мясницкой, удивляться, что на Садовой уже нет трамвая, и благодарить за значок с ВДНХ.

А напротив быстро и сегодня розовеет русская церковь, в которой обитатели улицы Дарю так много передумали и так много проплакали за последние полвека. И сегодня цел на улице Дарю домик, в котором жила Елена Александровна Миллер.

Бывшая помещица, муж которой, офицер царской армии, занимал в свое время высокий пост в Варшаве, Елена Александровна люто ненавидела Советскую власть и, несмотря на преклонный возраст, не упускала случая сделать своим бывшим соотечественникам какую-нибудь пакость. Ее дочь Лида была замужем за князем Борятинским, удравшим в 1920 году вместе с врангелевцами из Крыма на одном из последних пароходов и потом полной чашей испившим весь «нектар» эмигрантской жизни. 22 июня 1941 года вселило в князя надежду на перемену судьбы. Боясь, что в будущем, когда немцы начнут делить поместья и особняки, его могут оттереть от корыта жизненных сладостей, он решил подстраховаться и поступил работать переводчиком в лагерь советских военнопленных. В 1943 году его прибило к власовцам, но, как человек неглупый, он быстро сообразил, что с этой публикой далеко не уедешь, вернее, можно уехать очень далеко, на Колыму, а то и дальше — в райские сады. В 1944 году князь окончательно понял, что поместья и особняки остаются в мечтах навечно, и стал подумывать, как бы сменить ориентацию.

— Ты не исчезай,— говорил он Прохорову,— придут американцы, ты мне еще пригодишься... И вообще, Прохоров, попомни меня, встретятся еще наши дорожки, я уверен... Если куда тебя занесет, давай договоримся заранее, как восточку тебе подать. Моя цифра — одиннадцать. Мне на нее везет. Одиннадцать — будет наш пароль. Одиннадцатая страница из книги, одиннадцать яблок... Это значит, от меня, понял? Ты запомни...

Думали о будущем, строили планы, как продаться

подороже, понадежнее, кого еще можно привлечь, что в первую очередь может заинтересовать американцев. Прикидывали и так и эдак...

Анатолий не знал, что делать. Фишеру сейчас было уже не до него. А ну, как в Париж придут русские? Что тогда? Может быть, и правда держаться сейчас за Борятинского? Все-таки князь...

Но удержаться не удалось: водоворот событий отшвырнул Прохорова далеко от князя Николая.

Париж—Печора—Москва

Когда в Латинском квартале застучали пулеметы патриотов, а на площади Конкорд развернулся настоящий бой и танк со свастикой чуть не снес снарядом египетский обелиск, Анатолий Прохоров был озабочен лишь одной проблемой: где украсть костюм поприличнее. Черная форма шпееровского legionера была сейчас в Париже не в моде...

В августе пришли союзники. На Елисейских полях девушки засыпали цветами «виллисы». «Виллисы» были совсем новенькие, непоцарапанные даже, воевать им особенно не пришлось.

Прохоров целые дни просиживал в маленьких кабачках на улице Муфтар. Он опустил, ходил небритый, редко менял белье, много пил. Пьяный плакал от неустроенности и тоски, ругал немцев, американцев и князя Борятинского, который словно сквозь землю провалился. Как-то пьяный он забрел на бульвар Клиши. Там его и подобрала Мадлен, вечно голодная, чахоточная проститутка. В комнате, напивавшейся зябкой сыростью, не было, кажется, ничего, кроме таза, кувшина и огромной пыльной кровати. Мадлен покрылась гусиной кожей, это было противно... За звание мужчины Анатолий Прохоров уплатил франками.

Потом на улицу Муфтар занесло еще двоих — Родиона Зайцева и Филиппа Кугеля. Русские. Были русскими. О прошлом говорить было в этой компании не принято, но Анатолий сразу понял: народ отпетый. Через неделю Кугель притащил какой-то бланк на дорогой, с водяны-

ми знаками бумаге. В трактире «Старый дуб» — самом старом трактире мира, основанном еще в 1265 году, сидели за полночь, пыхтели, вытравливали текст. Рассчитали правильно: в эти дни всеобщей неразберихи может проскочить даже такая грубая «липа». И, действительно, получили 700 тысяч франков. Радости не было границ. Ездили обедать к «Максиму», дулись в рулетку, а вечером — на Пигаль, к девочкам, и так — всю неделю. Однажды пьяный Прохоров, вывалившись под утро из шантана, заметил новенький «рено» и предложил прокатиться. Было страшно весело, пока где-то у Блошиного рынка не влетели правым крылом в столб.

К деньгам быстро привыкли, втянулись, и когда в один прекрасный день 700 тысяч развеялись дымом, решили срочно что-нибудь предпринять. Вот тут и вспомнили о поездке на машине...

По существу, сложилась шайка, которая воровала автомобили и сбывала краденое. Несколько раз их чуть-чуть не поймали. Приходилось выкручиваться, подделывать документы. Так Анатолий Прохоров стал Константином Соболевским, потом Николаем Ершовским, потом Анатолием Правиковым, Анатолием Ершовым.

Машины угоняли иногда далеко, одну продали в Нанси, пили до полного оцепенения. Кугель стрелял в воздух из парабеллума, Прохоров зверел, кричал Зайцеву: «Ты знаешь, кто я? Я личный шофер генерала Власова! У меня архив в Париже. За такой архив НКВД 25 лет сунуть может! А ты кто? Мусор, шпана!»

Процесс падения этого человека удивляет своей стремительностью. Московский школьник — солдат, который сдался в плен на третий день войны, — послушник, который предал своего «спасителя», — доносчик гестапо — бродяга — вор. И все это — за четыре года. Трудно сказать, как долго продолжалась бы эта безумная и грязная жизнь и куда она завела бы нашего «героя», если бы в ту пору не возникли репатриационные комиссии и советскому военнопленному Анатолию Прохорову не было бы предложено явиться в лагерь Борегар под Парижем, специально предназначенный для репатриации граждан СССР, брошенных войной во Францию.

В лагере Прохорову не понравилось. Его раздражали

худые, измученные лица этих несчастных людей, большинство из которых были привезены сюда немцами на работу, познали весь ужас голода, концлагерей и рабского, отупляющего труда. Они готовы были идти на Родину пешком, босыми, мечтали только о своем доме, ждали дня отправки, как великого праздника. Они говорили по-русски, но Анатолий не понимал их. Это были люди абсолютно для него чужие.

Ночью он потихоньку ушел в Париж. Через несколько дней его снова вернули в лагерь. Французам надоело возиться с бродягой, и они просили отправить его как можно скорее. Второй раз он убежал на стоянке в Меце, выломав в полу вагона доски. В тот же день украл «ситроен» и поехал в Париж. Как жить дальше, он не знал. Ведь к двадцати трем годам своей жизни он ничего не умел делать. Умел только воровать автомобили.

Его поймали в самом центре Парижа, на острове Сите. Он мог бы убежать и наверняка убежал бы, если бы не позабыл в самый решительный момент, что мост за Нотр-Дам взорван.

Осудили на год тюрьмы. Теперь у Анатолия было время подумать о будущем. Год, конечно, можно отсидеть. А потом? Борятинский натрепался и удрал. Все мечты о работе с американцами рухнули. Да и зачем, честно говоря, он нужен американцам? Что он знает, умеет? Ну, допустим, он знает белую эмиграцию. Чхали они на всю эту шушеру. Может, вернуться в Россию? Кто знает, что он сдался в плен? Никто. Столяров один мог быть свидетелем, но Столяров убит. И про владыку Сергия можно будет не рассказывать. Угнали во Францию, вот и вся музыка. Фишер, Райхль? Где их искать? Да и кто их знает в России? Есть, правда, кое-какие фотографии, бумаги из гестапо, но они в надежном месте, у Елены Александровны на улице Дарю. Да и чего проще замести следы: ведь у него документы сейчас на Ершова! А от репатриации уклонялся Прохоров! Знать он не знает никакого Прохорова!

Заявление в Советское посольство в Париже было написано тонко, со слезой: «Оклеветан, невинно осужден, мечтаю вернуться на Родину...» В посольстве добились освобождения гражданина Ершова. 17 марта 1946 года

Ершов Анатолий Яковлевич прибыл в город Бранденбург, в проверочно-фильтрационный лагерь.

— Расскажите о себе,— попросил следователь.

Анатолий сглотнул слюну и начал:

— Моя фамилия Ершов (на самом деле — Прохоров). Родился в Вильнюсе (на самом деле — в Мценске), отец — кустарь-сапожник (служащий), умер в 1937 году (в 1939 году). Окончил 5 классов (10 классов). Во время оккупации был вывезен в Мюнхен (под Берлин), бежал (не думал никуда бежать), был пойман и направлен на работу в фирму «Моль и Дитрих» (в легион Шпеера). В феврале 1944 года бежал и попал в партизанский отряд капитана Жако (стал доносчиком гестапо). После освобождения Франции союзниками служил рабочим в транспортной конторе 7-й американской армии (кутил в парижских кабаках и воровал автомобили). Предлагали уехать в Америку, но хотел вернуться на Родину (дважды уклонялся от репатриации в Советский Союз).

Самородок лжи. Отказался от своей фамилии, похоронил на два года раньше отца, скрыл, что сдался в плен, что угодничал у Сергея — предателя Родины, что носил чужие погоны и работал на гестапо. Сжег, казалось бы, все мосты, затоптал все следы, без малого четверть века жизни своей перечеркнул. Зачем? Страх заставил. Опять страх. Вечно рядом. И как глубоко ни закапывал он правду, все казалось, что-то его выдает....

В первых числах февраля 1947 года в Троицко-Сергиевской лавре появился худощавый молодой человек, суетливость взгляда которого плохо вязалась с мягкой осторожностью движений и слов. Он интересовался делами давними, расспрашивал о московском духовенстве, о митрополите Воскресенском, но и новости были небезразличны ему, особенно те, которые касались связей мирских, скорее международных, чем духовных. Все расспрашивал, не собирается ли кто во Францию, а то письмо надо передать...

Седьмого февраля Прохорова арестовали. Упирался он недолго, понял: все знают. Старался лишь толковать кое-что по-своему, помягче, детали некоторые опускал... Приговор суда: 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

Север. Печора. Это был лагерь не хуже и не лучше других. Там было трудно, хотя Анатолий Прохоров умел избегать всякие трудности. Он играл в оркестре, а три последних года работал фельдшером в больнице. По амнистии он был освобожден досрочно в 1956 году.

В ноябре 1957 года по просьбе Прохорова органы прокуратуры вернулись к его делу. Следствие и новое расследование доказали, что он служил предателем Сергию, был завербован в фашистский легион, строил для немцев военные укрепления, сотрудничал с гестаповцами, а потом, когда вернулся на Родину, тщательно старался все это скрыть. Военный трибунал считал обвинение верным. Прохоров был амнистирован, но реабилитирован он не был...

Анатолию Прохорову исполнилось 35 лет. Ему разрешили прописаться у матери в Москве. У него был дом. Ему вернули все права гражданина своей страны. У него была Родина. Он мог спокойно жить, работать, учиться, построить семью и растить детей. Он не мог не видеть дорог, лежащих перед ним. Его выбор был свободен. Никто не напоминал ему о преступном прошлом. Ничто не подталкивало его к преступлению в будущем.

Он шагнул к нему сам.

Ценитель иностранной графики

Широта кругозора — качество само по себе, безусловно, похвальное. Случается, что человека интересуют вещи, очень, казалось бы, далекие: море и музыка, литература и медицина. К числу таких удивительно разносторонних людей, щедро одаренных природой разнообразнейшими способностями, принадлежал, очевидно, и Говард Склайтон. Он приезжал в Советский Союз в качестве туриста, затем в составе одной серьезной научной делегации, затем как администратор мюзик-холла, а в начале прошлой зимы прибыл, выражаясь языком разведчиков, «под крышей» одной выставки, назовем ее, например, выставкой изобразительного искусства. В Коми-

тете государственной безопасности работают люди любопытные, и спектр талантов Склайтона не мог их не заинтересовать. Сотрудники Московского управления КГБ стали частыми гостями выставки. Осмотр гравюр и рисунков не мешал им заодно приглядывать и за Говардом Склайтоном.

В один из тихих морозных дней на выставке появился мужчина средних лет в коротком пальто и мягкой шляпе. Он долго разыскивал кого-то в павильонах, а затем заинтересовался у одного из гидов, где можно найти администратора.

— Он уехал и сегодня не будет,— ответил гид.— Что-нибудь передать?

Мужчина смутился. Оглянулся по сторонам. Вокруг люди.

— Передайте, что приходил Николай. Я еще зайду,— быстро сказал он.

Действительно, зашел еще. И не один раз. Большой ценитель живописи и графики, он осматривал стенды шесть раз, одновременно наблюдая за тем, кто, когда и как входит и выходит из комнат, предназначенных для обслуживающего персонала и администрации выставки. Во время шестого визита он подошел к Склайтону. Перекинулись двумя-тремя словами. Вышли. Выставка размещалась в Сокольническом парке, и разыскать тут пустынный уголок для беседы было нетрудно. Лишь один раз испугнули они влюбленную пару, обнявшуюся на заснеженной скамейке.

— Любовь не может ждать до весны,— перебил Склайтон своего собеседника, с улыбкой взглянув на девушку.

Пару на скамейке действительно нельзя было упрекнуть в медлительности: через час на стол Бориса Марковича Куприна, начальника одного из подразделений Московского управления КГБ, легла фотография: Склайтон и Николай, шагающие по зимней аллее. Куприн показал фотографию специалистам по «фарцовщикам» и «валютчикам», но товарищи сразу сказали, что в компании их «подопечных» Николай не числится. Впрочем, выяснить, кто он, было делом не таким уж сложным. Из Соколь-

ников его «проводили» домой, на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу.

В этом доме жили пять Николаев. Один ходил в детский сад. Другой учился на первом курсе Высшего технического училища имени Баумана, третий Николай был специалистом Комитета по радиоэлектронике, четвертый, пенсионер, уехал гостить к сыну в Борисоглебск, пятый лежал в Боткинской больнице. Итак, на выставке был, очевидно, Николай № 3.

Из Комитета по радиоэлектронике пришли такие сведения. Шапошников Николай Константинович, 1922 года рождения, русский, беспартийный, не женат. Участник войны. Окончил в Москве Энергетический институт, работал в промышленности, затем в комитете. С группой специалистов выезжал в Англию в 1961 году. Знает английский язык. Последние два года занимается вопросами, связанными с проектированием специальной секретной электронной аппаратуры. Люди, знавшие Николая Константиновича лучше, чем работники отдела кадров, могли добавить, что их сослуживец пять лет назад развелся с женой, живет один и образ жизни ведет отнюдь не монашеский. Любит компанию веселую и пьющую. Безусловно, такой человек мог заинтересовать Говарда Склайтона. Тему для беседы на аллее в Сокольниках выбрать им было несложно.

Тогда решили посмотреть, чем занимается Николай Константинович после работы, с кем встречается, кого навещает.

Завязывалось новое дело, а дел у Куприна и его сотрудников и без того хватало. Кроме всего прочего, каждый новый «подопечный» Куприна отнимал у него куцые часы досуга, мешал Борису Марковичу регулярно ездить в Лужники, где он был широко известен как один из самых неистовых и тенденциозных болельщиков московского «Спартака». В дружной семье поклонников футбола Московского управления КГБ Куприн выглядел белой вороной: здесь кумиром были московские динамовцы. Каждый новый проипрыш «Спартака» рождал новую серию колкостей и насмешек, которые Куприн переносил весьма болезненно. О матчах «Спартака» и «Динамо» и говорить нечего. В день победы «Спартака» Борис Маркович держал себя так, что, казалось, он не ходит по ко-

ридору, а шествует на боевом слоне во главе колонны пленных рабов. В дни славы «Динамо» он предпочитал не ходить в столовую, где его с нетерпением ждал Рошин. Рошин был законченный динамовец, «со стажем». Давным-давно, году в 50-м, когда он работал в комитете комсомола, ему даже довелось вручать комсомольский билет Леве Яшину. Надо ли говорить, что сердце Рошина принадлежало динамовцам навсегда. Рошин считал, что Куприн оригинальничает, болея за «Спартак». Куприн относился к Рошину с жалостью, как к убогому, безвинно страдающему человеку. Это была целая история...

Зимой, как водится, футбольные страсти Куприна трансформировались в страсти хоккейные.

— Хоккей — это тоже большое дело. И надо же было так случиться, что этот Шапошников появился в разгар первенства страны!.. — шутил Куприн.

Следующие три дня Шапошниковым занимались сотрудники из подразделения Корчагина.

Корчагин командовал специальной службой, которую, руководи нашим КГБ поэты, назвали бы, наверное, тенью преступника.

День и ночь, в любую погоду, по существу, в любом месте должны работать ее сотрудники. И работать так, чтобы даже намек на подозрение не возникло у преступника, за которым ведется наблюдение. Он может менять одежду, внешность, сбивать с толку то костылями, то молниеносным перескакиванием из одного такси в другое, растворяться в толпе вокзалов и универмагов, вместе с командой «Готов!» выскакивать из сходящихся дверей метрополитена, уползать в темноте киносеанса. Он может завязать самый сложный узел следов в проходных дворах или выйти один в три часа ночи на пустынную улицу, когда каждый прохожий на ней торчит, как гвоздь, и наблюдение за ним становится почти невозможным. Тысячи вариантов рождает сложнейшая работа чекистов.

Куприн не знал, кто из сотрудников «поведет» по городу Шапошникова, попросил только, чтобы вначале это был товарищ, видевший его на выставке графики и знавший в лицо.

Сотрудник, который вел за ним наблюдение, вынул

уже знакомую нам фотографию: ошибки не было, это тот самый человек, который прогуливался со Склайтоном по заснеженным аллеям Сокольнического парка.

Николай Константинович зашагал к площади Маяковского и нырнул в водопад пассажиров, беспрерывно низвергающийся по гранитным ступеням метрополитена. Он сделал пересадку в центре и, сойдя на площади Дзержинского, зашагал к зданию... Комитета государственной безопасности. Из миллионов возможных адресов Москвы он выбрал, казалось бы, самый невероятный в этой ситуации. Впрочем, можно допустить, что Шапошников решил явиться с повинной...

Однако являться с повинной Николай Константинович не торопился. Он вышел на улицу Кирова и, войдя в известный всей Москве книжный универмаг, скрылся за дверью с табличкой: «Отдел «Книга — почтой».

«Чудеса,— думал Куприн, читая рапорт специальной службы,— все, что угодно, можно предположить, но что он делает в книжном магазине?» Куприн позвонил в Комитет по радиоэлектронике. «Шапошников в Госплане у товарища Фокина». Позвонил секретарю Фокина. «Да, сейчас идет совещание, Шапошников на совещании. Сию минуту где? Сейчас я проверю... В кабинете...» Чудеса...

— Ну что же,— вслух самому себе сказал Куприн,— пойду-ка посмотрю новинки литературы...

В кабинете директора магазина Леонида Самойловича Волошина, куда заглянул Куприн, было много народу. Куприн, не торопясь, обошел прилавки, горестно пощелкал языком над списками новинок, где против самых интересных названий уже красовалось лаконичное «Продано». Наконец директор освободился...

Через полчаса Куприн уже знал, что в отделе «Книга — почтой» работают только двое мужчин.

— Оба они средних лет, оба бывшие фронтовики...— рассказывал директор,— беспартийные оба... Женаты ли, не знаю. Кажется, женаты... Так, честное слово, ничего плохого не замечал...

— И очень хорошо, что не замечали,— улыбнулся Куприн.

— Один из них, Иван Иванович, правда, хмурый какой-то, водочкой, бывает, от него пахнет по понедельникам. А так, чтобы... Вот на прошлой неделе Иван Иванович плакаты себе купил в нашем магазине...»

— Какие плакаты? — спросил Куприн.

— Да разные... Космос, борьба за мир. Штук десять.

— Так-так... И зачем это он?

— Не знаю...

— Ну, спасибо, Леонид Самойлович. Еще одна к вам просьба: нельзя ли взглянуть на личные дела этих двух товарищей? Буквально на одну минутку...

Ему принесли личные дела. Он раскрыл первую папку. С верхнего правого угла анкеты на него смотрел «Николай». Он прочел первую строчку: «Прохоров Анатолий Яковлевич, год рождения 1922...»

«Все ясно,— думал Куприн.— Этот Прохоров придумал себе кличку «Николай». Хотел подстраховаться на выставке. Может быть, даже чувствовал, что за ним следят, и поспешил запутать следы... И запутал! Запутал, черт возьми, на 24 часа! Шапошников со всей его радиоэлектроникой абсолютно ни при чем. Итак, Прохоров. Что за птица этот Прохоров?»

Вечером Куприн вызвал Рощина:

— Александр Петрович, придется тебе заняться одним человеком... Некто Прохоров Анатолий Яковлевич. «Проходит» по связи с иностранцами... Вот полюбуйся,— он протянул фотографию,— рядом с ним Склайтон, фигура тебе, наверное, известная... Некоторые наши товарищи смеются, говорят, что Прохоров этот просто шизофреник или носками иностранными хочет разжиться... Может быть, и так, но что-то непохоже... Если только в этом дело, то зачем он называет себя Николаем, когда он Анатолий, зачем шесть раз приходит на выставку и ищет встречи со Склайтоном? Надо тут разобраться...

Так началась история второго преступления. Впрочем, было ли это второе преступление? И было ли это началом? Пожалуй, это не было началом начала. Скорее это было началом конца.

Загадка Л. Д.

Перед Рощиным лежал лист бумаги. Две фамилии: Анатолий Прохоров, 2-я Тверская-Ямская ул.; Говард Склайтон, гостиница «Украина». Первый работает в книжном магазине, второй — разведчик «под крышей» выставки. Зачем они встречались, о чем говорили? Как узнать? Прежде всего что за человек Прохоров? «Проходил» ли по другим делам?

Оказалось, что не просто «проходил», а даже в «главной роли». Церковь, плен, экзарх Прибалтики, легион Шпеера, Берлин, Париж, гестапо... Да, но все это грехи прошлые. Человек наделал немало ошибок в своей жизни и уже понес за них наказание. Последними документами в «Деле» были бумаги, связанные с амнистией и просьбами Прохорова пересмотреть приговор. Это было в 1957 году, а сейчас 1963-й. Шесть лет прошло. Что это были за годы в жизни Прохорова? Чем они были заполнены? Какие люди окружали его?

Возможно, Прохоров не одинок. Может быть, у него есть некий шеф или кто-то работает на него. В первом случае после встречи со Склайтоном он непременно должен будет сообщить об этом, как-то выйти на связь. Во втором — активизировать или, наоборот, в зависимости от результатов переговоров в Сокольниках, свернуть деятельность своих помощников. Так или иначе, но встреча со Склайтоном должна была вызвать у Прохорова какую-то реакцию. Поэтому вывод первый: продолжить за ним наблюдение, выяснить круг наиболее близких друзей, их адреса, телефоны, проверить, от кого и каким образом он получает письма, — с этого надо начинать.

Теперь Говард Склайтон. Это фигура более прозрачная. Но зачем ему понадобился скромный работник книжного магазина? Выставка переехала в Ленинград. Может быть, Склайтон оставил какие-нибудь следы в «Украине»? Вряд ли. У него достаточно высокая квалификация, чтобы не «наследить». Впрочем, надо проверить...

Как и ожидал Рошин, ничего интересного в номере, где жил Склайтон, он не нашел. К тому же после отъ-

езда иностранца номер тотчас убрали, пропылесосили, и даже если он оставил что-то, это «что-то» покоится уже на одной из московских свалок.

Рошин сидел в номере за письменным столом, в пустых ящиках которого он нашел лишь телефонный справочник и несколько карандашей. В справочнике не было ни одной пометки. Карандаши советские, самые обыкновенные, фабрики «Союз». На столе — лампа, письменный прибор, перекидной календарь, телефон. Пролистал календарь — ни одной заметки.

Рошин еще раз внимательно осмотрел листки за те дни, когда в номере жил Склайтон. Ничего. Он уже хотел встать и уйти, когда заметил, что среди новеньких, чистых листков одного не хватает: листка за 21 декабря. В это время Склайтон жил здесь. Листок мог вырвать он или кто-то, кто заходил к нему. Мог вырвать, конечно, и совсем другой человек, живший здесь до Склайтона. Но тогда скорее не хватило бы листка за то число, когда он здесь жил. Зачем вообще кто-то вырвал листок? Скорее всего на нем было что-то записано. Что-то, что надо было или сохранить у себя, или уничтожить. Если записывали на листке 21 декабря прямо в календаре, анализ покажет отпечаток на листке 22 декабря. Впрочем, могли ведь записывать и на обороте листка 21 декабря. Тогда следы надо искать на листке 20 декабря. Но листок могли сначала вырвать, а потом уже что-то на нем записать, тогда никаких следов не будет. А все-таки проверить надо. Рошин аккуратно вырвал из календаря еще два листка...

Результаты анализа были готовы вечером. На листке 20 декабря — пусто. На листке 22 декабря, оказалось, есть незаметный для глаза оттиск: «281618 Л. Д.».

— Число шестизначное, это точно, — сказал капитан, в лаборатории которого трудились эксперты. — Очевидно, записывали японским фломастером — фетровым карандашом с тушью. Оттиск широкий, но очень слабый.

Итак, шесть цифр. Может быть, это номер московского телефона? А Л. Д. — инициалы? Два часа потребовалось на то, чтобы установить: по телефону Б 8-16-18 не проживает человек с инициалами Л. Д. Телефон с таким номером стоит на квартире Александра Ильича Красов-

ского, доктора физико-математических наук, который много лет живет здесь с женой Валентиной Андреевной, тещей Антониной Дмитриевной Верещагиной и сыном Владимиром, студентом.

Изучение семьи Красовских не дало Рошину ни малейшего основания даже заподозрить этих людей в каких-либо неблагоприятных поступках или намерениях. Хорошая, дружная семья, но как и почему телефон этих людей оказался у Склайтона? Рошин решил съездить к Красовским, поговорить, постараться разглядеть хотя бы какую-нибудь легкую тень версии, объясняющей все.

Они беседовали втроем: Рошин, Александр Ильич и Валентина Андреевна. Рошин сказал прямо: «У одного иностранца, который интересуется наши органы государственной безопасности, обнаружен ваш телефон. Не могли бы вы помочь нам узнать, как этот телефон попал к нему? Попал совсем недавно, во второй половине декабря».

— Понятия не имею.— Александр Ильич пожал плечами.— Я знаком со многими иностранными учеными, но не помню, чтобы я давал им свой домашний телефон. Я не делаю из него секрета, но просто не было никакой в этом нужды... Близких друзей среди иностранцев у меня нет... Право, не знаю, как вам помочь...

— Не помните ли, никто из иностранцев не звонил вам в последнее время? — спросил Рошин.

— Точно помню: никто не звонил.

— Может быть, кто-нибудь, помимо членов вашей семьи, пользуется этим телефоном?

— Нет, никто не пользуется.

— А из тех людей, которые часто бывают у вас?

— У нас много друзей и знакомых,— Александр Ильич развел руками,— но, насколько я помню, у них есть свои телефоны...

— Вот, правда, тетя Люба...— начала была Валентина Андреевна.

— Что тетя Люба? — Александр Ильич обернулся к жене.

— Тетя Люба — это сестра моей мамы, фамилия ее Шаболина,— пояснила Валентина Андреевна Рошину.—

Она часто заходит, они с мамой пьют чай, беседуют... Ну, знаете, у старушек свои дела... У тети Любы с Валерием — это сын ее — нет телефона, и она недавно предупреждала мою маму, что ей будут звонить, просила не забыть передать ей: должны оставить номер телефона...

— А сколько лет Любви... как ее отчество? — спросил Рошин.

— Любовь Дмитриевна. Ей уже шестьдесят три. Она немного моложе мамы...

— Да-а... — сказал Рошин и с улыбкой покачал головой. — Валентина Андреевна, у меня к вам просьба. Как только вашей тете позвонят и назовут номер телефона, сообщите мне. Хотелось бы, чтобы мы узнали этот номер чуть раньше, чем Любовь Дмитриевна. Хорошо?

— Да, да, конечно, — кивнула Валентина Андреевна.

— Конечно, если это надо... Мы понимаем... — отозвался Александр Ильич...

Рошин шел от Красовских пешком. Хотелось пройтись и подумать. Получался бред чистой воды. Шестидесятитрехлетняя старуха Любовь Дмитриевна — Л. Д. Шаболина — связная разведчика? Чепуха! Что ему о ней известно? Всю жизнь прожила в Москве, никогда нигде не работала, три года назад похоронила мужа. Живет с сыном-инженером... Представляю, какой хохот поднимут наши ребята, когда я принесу им разгадку таинственных инициалов Л. Д. Бред, абсолютный бред. Значит, или надо искать другого человека с инициалами Л. Д., или... Или Любовь Дмитриевна — «крыша», кто-то использует старушку «втемную». Квартира Красовских очень удобна для этого. Сидят старушки, пьют чай. Все очень благопристойно. Потом звонок. Одной старушке сообщают номер телефона, она передает его. Кому? Поехать к Любви Дмитриевне, поговорить с ней? Опасно. Ведь тот, чью волю она может слепо выполнять, где-то близко. Можно вспугнуть, все испортить.

Все это время, пока Рошин разыскивал таинственного обладателя инициалов Л. Д., изучение Анатолия

Яковлевича Прохорова продолжалось самыми ускоренными темпами. Очень скоро удалось установить, что Анатолий Яковлевич ведет обширную переписку с пражданином Бочаровым из города Риги и с гражданином Кузнецовым из Орска, получает письма в свой адрес на 2-й Тверской-Ямской, в адрес некоей Толчинской Софьи Алексеевны, проживающей в Телеграфном переулке, «до востребования» на Главпочтамте, а также еще в нескольких городских отделениях связи.

«Все это уже более чем любопытно,— рассуждал Рошин.— Разумеется, нет ничего странного, что человек переписывается с Ригой или Орском. Пусть хоть с Риоде-Жанейро переписывается. Но зачем, вместо того чтобы спокойно получать письма дома, ездить за ними на Главпочтамт? Ну, допустим, есть негодяй-сосед, который сует нос в чужие конверты, и волей-неволей приходится пользоваться услугами «до востребования». Но почему несколько адресов? Значит, человек хочет запутать, скрыть или самый факт переписки, или ее содержание...».

В эти дни Рошин работал по 16 часов в сутки. Он «вживался» в Прохорова, старался понять устройство всех скрытых пружин, приводящих в действие сложный механизм его поведения. Он изменился даже сам — так всегда случалось, ведь есть что-то общее между работой контрразведчика и трудом актера: и тот и другой стремятся до дна познать человеческий характер. Он сидел в управлении каждый день до глубокого вечера. Билеты, купленные заранее на «Принцессу Турандот», пропали, просто он о них забыл. Сын-второклассник ликовал: уже две недели отец не смотрел его дневник! Жена пока молчала, она уже привыкла: ведь такое случалось и раньше...

Через день на стол Рошина лег короткий список самых близких друзей Анатолия Яковлевича. Тех, с кем он встречался в последнее время чаще всего. В этом списке были только три фамилии: Софья Алексеевна Толчинская, Анатолий Иванович Иноземцев, Валерий Федорович Шаболин. Рошин даже зажмурился. Нет, совершенно точно: Шаболин Валерий Федорович.

Проблема № 1

Почему Анатолий Прохоров стал изменником Родины? Я думаю об этом все время. На этот вопрос ищу ответа, роюсь в пухлых папках «Дела», путешествуя с Рощиным по Москве с одной явки на другую, осматривая тайники, беседуя со свидетелями. Почему?

1958 год. Он живет в Москве, у матери. И с первых шагов ищет жизни легкой, но доходной. Церковь в Телеграфном переулке. Он много рассказывал священнику о своих прежних знакомствах в мире духовенства, вошел в доверие, пристроился. Торговал свечами по святым праздникам, выгадывал довесок к зарплате. А положили ему не так уж мало — 1 200 рублей. Но он-то считал — мало...

Здесь, в церкви, и познакомились они с Софьей Алексеевной Толчинской, пенсионеркой, бывшей преподавательницей немецкого языка.

Странное это было знакомство. Она жила рядом с церковью, и Анатолий после «работы» обычно заходил к ней. Кормился. Софья Алексеевна была в кулинарии мастерица, и ему было приятно вдвойне: и вкусно и задаром. Беседовали. Когда Софья Алексеевна покупала «Толику» четвертинку, он добрел, вспоминал былое. Париж, гостиную мадам Мюллер и проделки на бульваре Клиши... Были спутники, Братск, целина. Когда она говорила ему обо всем этом, он морщился: «Дешевая агитация». «А что же тогда настоящее?» — спрашивала она. «А ничего нет настоящего, обман и воровство вокруг, вот и все...»

Есть слово «идеалы». Иногда его употребляют без ума, и тогда слово это тускнеет. Но дело не в неумелом употреблении, а в сокровенной его сути. Что такое идеалы? Это в конечном счете, думается мне, свой счет правды и лжи, справедливости и обмана, своя оценка всему, что делает твой народ и ты сам. Коммунистические идеалы — это наша мера, которой мы поверяем мир... Все думаю о Прохорове... А его идеалы? Быть может, он убежден в том, что строй капитала свободнее и счастливее? Ведь есть немало людей, убежденных в этом. Нет, не думаю. Этой убежденности нет ни в его высказываниях, ни в его письмах. Его не интересуют экономические

показатели, он не заглядывал в статистические справочники.

Казалось бы, он, человек чуждой нам идеологии, должен был бы восхищаться, например, промышленностью США, идущей впереди нас по многим своим показателям. А он восхищается поэзией кафе и романтикой «свободной любви». Я жил в Париже совсем немного и знаю все-таки, что хозяева кафе работают там в поте лица по 18 часов в сутки, что в этом прекрасном городе существует гигантская подпольная индустрия проституции — именно индустрия, со своими шефами и боссами, порядками и законами, спросом и сбытом, со страшной грязью и цинизмом. Как он не разглядел этого за годы жизни в Париже?

Он увидел упаковку и уже не интересовался содержанием. Нет, не убежденность привела Анатолия Прохорова к преступлению, а, думается мне, отсутствие всяких убеждений. Писалось и говорилось об этом много, но, не скрою, слова эти всегда казались лично мне несколько абстрактными. Дело Прохорова наполнило их сутью. Безыдейность была лучшим удобрением для зерен паразитизма, заброшенных в его душу много лет назад. И зерна эти проросли густо.

Если бы в нашей стране можно было беспрерывно потреблять, ничего не давая взамен, его устраивала бы и Советская власть. Но поскольку у нас так жить нельзя, она, эта власть, его не устраивает.

Из церкви его выставили, когда узнали, что он заболел сифилисом. «Это уж, родной, чересчур», — сказал на прощание отец Данила. Лечился. Потом устроился в книжный магазин экспедитором. Думал только об одном: заработать, но по-крупному, в валюте. Заработать и махнуть на Запад. Весь вопрос: как?

В июне прошлого года в Москву приехали туристы из Франции. Была среди них русская — Надежда Дубровская. Он разыскал ее в гостинице «Балчуг», уговорил отвезти письмо, бросить в Париже. Письмо адресовалось Борятинскому: просил помощи, совета. К этому времени князь Николай уже осуществил свой план: переехал в Вашингтон, преподавал в военно-морском колледже.

Прохоров боялся: а вдруг Дубровская выбросит его письмо? Хотелось хоть немного отдохнуть от страха, переложить, пусть часть его, на другого.

Были два человека, которым он доверял,— Кузнецов в Орске и Бочаров в Риге. С Кузнецовым вместе сидели в лагере. Серьезный парень. Имел 25. Выпустили по амнистии. Бочаров — поп православный, тоже старый друг, еще по прибалтийским вояжам. Сейчас присох в Риге, сидит смиренно...

Прохоров писал в Орск: «Передал письмо и теперь дрожу, какмышь... На черта это мне все нужно, и сам не знаю...» Ждал ответа от князя до августа, не дождался. Разыскал еще одного туриста, теперь уже из Англии. Профессор, геолог Сергей Иванович Мокеев, читал курс в Кембриджском университете. Со стариком пришлось долго биться, уговаривать. Так он переслал второе письмо. Через некоторое время он сообщил в Ригу: «...намечена определенная цель. Это не для писем...»

Этой целью был Валерий Шаболин.

Познакомились они «по пьяному делу» в ресторане «Узбекистан». Встречались еще и еще. Шаболин рассказал, что работает в «почтовом ящике». Изделия, которые разрабатывались там, он называл «штучки». Что это были за «штучки», Анатолий долго не понимал, все выпрашивал, но осторожно, без нажима, когда к слову придется. Когда узнал, заинтересовался подробнее. Валерий болтал охотно. Ему льстила секретность. Себя он называл, как самодержец: мы.

— Мы знаешь какие штучки готовим? Закачаешься! Гляди.— Он рисовал на клочке бумажки, потом непослушными, пьяными руками нащупывал в кармане коробок и, ломая спички, поджигал клочок.

— Вот так-то, брат! Иначе нельзя, понял? Бдительность! Мы — за семью печатями, понял?

Анатолий деланно восхищался.

Однажды они вдвоем крепко напились дома у Прохорова. У Валерия все качалось в глазах. Его долго рвало в уборной. Анатолий успокаивал: «Ничего, пройдет, приляг...» Валерий ткнулся в диван. Через десять минут раздался пьяный храп. Анатолий встал со стула трезво,

бесшумно подошел к дивану. Руки были гибкие, словно без костей. Он быстро нашел рабочий блокнот в пиджаке, в левом внутреннем. Потянул медленно, плавно...

В блокноте были радиосхемы, таблицы, формулы. Потом фамилии, служебные телефоны. Прохоров переписал все. Особенно тщательно то, чего не понимал.

На следующий день было объяснение. Когда Анатолий вернул блокнот Шаболину, возмущению Валерия не было границ.

— Как ты смел! Я считал тебя порядочным человеком! Я пойду в КГБ и все расскажу!

— Запомни: мы теперь одной веревочкой повиты. Если расколешься, — я тебя с собой потяну. Так что держись за меня. Перейдем границу — деньги уж у нас будут. Это я еще раньше сработал одно дельце. Ну, да тебе о нем знать не надо. Никто о нем не знает... А там и заработать — дело нехитрое.

— Ты с ума сошел! — кричал Валерий.

— Я все обдумал. По радио выступать будем...

— Как выступать? Что ты говоришь, опомнись...

— А вот так выступать. Тему придумаем... Работа найдется. А потом махнем к Борятинскому в Вашингтон. Житуха!

У Валерия от ужаса холодела спина.

Теперь был «товар». Надо было искать «покупателя». Прохорову очень не хотелось делать все своими руками: можно примелькаться и сгореть. А тут как раз и человек удобный подвернулся: Иноземцев, работает в метро, несколько туповат, но это даже хорошо — от тупости он становится смелее. Ему поручил Анатолий сходить на квартиру к одному крупному американскому журналисту.

Журналист налил Иноземцеву виски с содовой, закурил трубку и, усевшись поудобнее, приготовился слушать. Иноземцев предлагал сотрудничество: мы вам — ценные оборонные сведения, вы нам... Ну, разумеется, не даром... Для начала вот. Он протянул конверт.

«Неужели в КГБ меня считают таким идиотом? — ду-

мал журналист.— И что я такое натворил, что они прислали ко мне этого болвана?»

— Вот что, милейший,— сказал журналист, пустив над головой аккуратный нимб табачного дыма,— никого письма я, разумеется, не возьму. Если вы или ваши друзья имеют намерения сообщить нечто, что может заинтересовать моих соотечественников, я прошу сделать это устно. И тогда я уж сам решу, что делать дальше с вашей информацией. А пока не угодно ли попробовать «Белую лошадь»? Всемирно известный напиток... Как это по-русски: «посошок на дорожку»...

Прохоров был взбешен.

— Идиот,— кричал он, не глядя на Иноземцева,— последний осел этот янки! Ему плывет прямо в руки, а он нос воротит!

И тут подвернулась выставка. Подвернулась как нельзя кстати. Сначала Анатолий отправил на выставку Иноземцева. Иноземцев съездил, походил кругом. Вечером доложил Прохорову:

— Там полно сотрудников КГБ, ничего не выйдет...

На самом деле (сейчас он признался в этом) он не видел ни одного сотрудника. Просто стало очень страшно. Он решил отвязаться от Анатолия.

Прохоров поехал сам. Долго изучал обстановку и наконец рискнул. Он попал удачно. «Администратор» оказался сообразительнее журналиста.

— Ничего я брать у вас сейчас не буду! И вообще вы грубо работаете,— тихо говорил Склайтон, шагая по аллее в Сокольниках.— Никаких встреч, запомните это навсегда. Дайте номер телефона, удобный вам. Не торопитесь. Подумайте. Это должен быть чистый телефон. Когда придумаете, сообщите мне...

Они встретились еще раз. Анатолий снова набивался с письмом, Склайтон снова отказывался. Анатолий начал рассказывать о Шаболине, о «штучках», Склайтон не перебивал, слушал. «Устный разговор — дело чистое,— думал он.— А парень, кажется, действительно интересный, такого нельзя упускать...»

Беседы в Сокольниках окрылили Прохорова: дело пойдет! Он пишет в Ригу о встречах со Склайтоном: «Молись, чтобы я вытащил «проблему № 1». Так отныне обозначалась измена. Он боится за сохранность получен-

ных у Шабалина сведений, снимает копию, посылает в Орск. «Храни намертво»,— приказывает в письме Кузнецову. Но звонка, которого он ждал с таким нетерпением, все не было и не было.

В это время Склайтон мучился сомнениями: «А если все это «шутки» русской контрразведки?». Все время ему казалось: следят. У него совершенно развинтились нервы. В Ленинграде, в гостинице, пьяный, разломал телефон, кричал: «Я знаю, куда они прячут свои микрофоны!» Микрофон не нашел, а за испорченный аппарат пришлось платить. «Хорошо еще, что об этой глупости не знают в Москве, в посольстве,— думал он на следующий день,— стыда не оберешься...»

В Москве об этом узнали. Правда, не в посольстве.

— Волнуется Склайтон,— сказал Куприн Рошину.— Что же его волнует? А, Александр Петрович?

Рошин промолчал, закурил.

— Борис Маркович, а ведь самый факт, что он волнуется, уже позволяет порассуждать.— Он затянулся дымом.— Вот, смотрите...

Рождение Кэтрин Кэтуэй

Генерал сидел за письменным столом, отложив в сторону все папки и бумаги, слушал внимательно, не перебивал. Рошин — напротив. Рядом с ним — Куприн и Козин, заместитель Куприна, старый, опытнейший чекист, который знает Москву, наверное, лучше собственной квартиры.

— Петр Михайлович,— говорил Рошин,— все поведение Прохорова, его встречи, переписка, связь со Склайтоном, упорное желание наладить и упрочить свои контакты с иностранцами — все это говорит о том, что он располагает какими-то данными, которые представляют интерес для зарубежной разведки. А его поведение? Ведь он осторожен, как лиса...

— Это верно,— улыбнулся Куприн,— товарищи из подразделения Корчагина жалуются: у него повадки профессионала.

— Пустой, без материалов,— продолжал Рошин,— он не развивал бы такую активность. Тем более, его не интересуют ни валюта, ни тряпки. Я убежден, что ему нужна прочная и надежная связь. Он искал ее и нашел на выставке. Весь вопрос в том, что он хочет сообщить...

— Ну сообщить-то ему как раз есть что,— перебил Рошина Козин.— Ближайший друг в Москве — Шаболлин, сотрудник важнейшего оборонного центра. Это уже интересно. С Шаболлиным Прохоров очень близок. Первый подручный во всех пьянках и оргиях...

— Я думаю,— быстрой своей скороговоркой, немножко напоминающей речь футбольного комментатора, вставил Куприн,— нет ни у кого сомнения, что Прохоров задумал передачу.— Он оглянулся на Рошина и Козина.— Зачем тогда телефон и вся эта возня с Любовью Дмитриевной, матерью Шаболлина? Склайтон уехал. Телефон молчит. Но позвонить он может в любую минуту. И Прохоров выйдет на связь. Причем выход этот он может так оформить, что комар носа не подточит.

— Что же вы предлагаете? — спросил генерал.

— Петр Михайлович!—Рошин говорил тихо, но убежденно.— Надо обязательно узнать намерения Прохорова, узнать, зачем ему нужна эта связь...

— Как? — быстро спросил генерал. Рошин понял: все, о чем тут говорили, ясно было генералу с первых слов доклада, и думал он все время именно об этом: как? Куприн задвигал стулом: начинался главный разговор.

— А что если позвонить Красовским и дать Любви Дмитриевне телефон для связи, а? — Этот вариант Куприн припас еще до встречи с генералом.— Прохоров клюнет и выйдет на связь. «Иностранцем» будет наш человек. И посмотрим тогда, как поведет себя Прохоров. Заодно проверим, сообщат ли нам Красовские об этом звонке...

Генерал на секунду задумался:

— Не совсем то, Борис Маркович. У нас нет никаких оснований не доверять Красовским. Ведь мы просили их помочь нам, зачем же их проверять? Без веры работать нельзя...— Он опять помолчал.— И второе: Прохоров знает, что звонить будут от Склайтона. Уже этим мы как

бы подтолкнем его. Мы обязательно должны узнать, что он замышляет. Обязаны узнать. Но мы должны сделать так, чтобы исключить какой бы то ни было нажим на Прохорова, на его волю, психику. Если он задумал что-то сообщить, передать, мы со своей стороны должны показать, что не только не заинтересованы в этом, а, наоборот, всячески хотим сдержать его попытки. Абсолютная свобода воли — только в этом случае мы получим достоверные сведения... Ваша идея с «иностранцем», — генерал обернулся к Куприну, — тоже спорная идея. Это крайний случай. Но я допускаю, что в данных обстоятельствах возможно и такое решение... Одну минуту. — Генерал нажал кнопку. В дверях неслышно появился дежурный.

— Пригласите, пожалуйста, Александра Николаевича, — сказал генерал.

Александр Николаевич Воронцов, выслушав просьбу генерала заняться Прохоровым, чутьем старого чекиста понял: работа тонкая и трудная.

— Ну что ж, друзья, — он обернулся к Куприну, Козину и Рошину, — давайте как следует все обмозгуем. Пошли ко мне, поговорим...

Через день в очень старинном особняке князя Растопчина на улице Дзержинского, где когда-то ночевал Наполеон Бонапарт, родилась Кэтрин Кэтуэй, представляющая в Москве интересы косметических и парфюмерных фирм разных стран.

Большинство писем на свое имя Анатолий Яковлевич получал в почтовом отделении, расположенном неподалеку от его дома на 2-й Тверской-Ямской улице. В это почтовое отделение и пришло письмо на имя Прохорова Алекса. Девушка в окошке «до востребования» уже хорошо знала Анатолия Яковлевича, и непонятно сокращенное имя на конверте не вызвало у нее сомнений в том, что письмо адресовано ее давнему знакомому.

Алекс... Это удивило Прохорова. Он разорвал конверт. На маленьком листке дорогой почтовой бумаги прочел не совсем грамотный русский текст:

«Уважаемый друг! Я имею посылку для вас и прошу зайти ко мне в отель «Пекин» № 216.

Искренне ваша Кэтрин Кэтуэй».

Наконец-то! Анатолий понял: Склайтон не доверился звонку к Любови Дмитриевне и ищет встречи. Однако идти в «Пекин» опасно. Лучше встретиться где-нибудь на улице.

Он позвонил в гостиницу, узнал телефон номера 216.

— Алло! Это Прохоров. — Анатолий старался говорить спокойно. — Я получил ваше письмо...

— О, хорошо, я жду вас, — послышалось в трубке.

— Если вы не возражаете, давайте встретимся не в гостинице, а просто в городе...

— Хорошо, если вы хотите... Где?

— Рядом с тем местом, которое изображено на конверте вашего письма. Вы помните?

— Да, помню.

«Бойтся, что этот разговор кто-то может услышать, — подумала «Кэтрин». — Это он ловко придумал с конвертом. На конверте — памятник Маяковскому».

— Когда мы встретимся? — спросила «Кэтуэй».

— Сегодня в семь часов вечера вы сможете?

— В семь вечера? Хорошо.

Анатолий появился у площади Маяковского за час до срока. Почистил ботинки у Театра кукол, обошел ресторан «София», купил газету в метро, почитал афиши зала имени Чайковского, узнал «точное время» из автомата в театре «Современник», навестил туалет у кино «Москва». Ничто не вызывало его подозрений. Площадь жила своей обычной жизнью. У памятника играли ребятишки; парень фотографировал девушку, потом девушка парня; маленький водоворотик людей вертелся в дверях кино; тосковали безбилетники у подъезда «Современника». Его взгляд быстро пробежал по окнам, смотрящим на площадь, но и здесь не увидел он ничего, что заставило бы его встревожиться. Без пяти семь к входу в зал Чайковского подъехало голубое такси. Из машины вышла женщина средних лет в зеленоватом, отливающим перламутром плаще, с модным острым зонтиком в одной руке и сумкой в другой. Она пересекла площадь, обошла па-

мятник вокруг, остановилась, достала из сумки пачку «Кэмел», прикурила от ронсоновской газовой зажигалки и огляделась по сторонам.

«Пришла»,— подумал Прохоров. Он оставил свою очередь у касс «Москвы» и быстро пошел к памятнику.

— Добрый вечер,— сказал Анатолий.

— Добрый вечер,— ответила «Кэтрин», приветливо улыбнувшись.

— Я Прохоров. Я получил ваше письмо.

— О, это тут что-то не так,— с легким английским акцентом сказала «Кэтрин».— Я писала Алексу Прохорову. Посылка для Алекса. Но вы другой человек. Тут ошибка есть. Я не могу дать посылка...

Анатолий подошел вплотную к «Кэтрин»:

— Здесь нет никакой ошибки. Кто вам назвал мою фамилию? Склайтон. Вы от Склайтона?

— Склайтон? — Брови «Кэтрин» взмыли вверх.— Я не знаю никакого Склайтон.

— А Борятинского вы знаете? Борятинского Николая Александровича из Вашингтона? Военно-морской колледж. Может быть, он забыл, как меня зовут. Я не Алекс, я Анатолий, понимаете? Пароль Борятинского — одиннадцать, я не забыл.

— О, нет! Я не знаю Борятински. Какой пароль? О чем вы говорите? Я был в Вашингтон давно, в пятьдесят пятом году. Никакого Борятински я не знаю!

— Ну, хорошо. Это неважно.— Прохоров задумался лишь на секунду.— Это неважно. Я прошу вас помочь мне.

Он заговорил вдруг совсем по-другому, быстрым, горячим шепотом, косясь по сторонам, задыхаясь, словно на бегу:

— Я был в плену... Во Франции живут мои друзья... Меня знает Склайтон, администратор выставки в Сокольниках, он обещал позвонить, сообщить о себе и не звонит... Я сидел в лагерях, можете верить мне, я много страдал от коммунистов...

— Но какое здесь дело ко мне? — запротестовала «Кэтрин».

— Выслушайте меня. У меня есть друзья, мы хотим помогать вам, вашей стране... У нас есть сведения, ко-

торые заинтересуют вас, обязательно заинтересуют... Это начало, это только начало...

— Я продаю косметика, парфюм, я не хочу это знать. Прохоров схватил ее за рукав.

— Вам ничего не надо знать. Вот письмо, перешлите его Склайтону, Борятинскому, передайте, наконец, здесь в посольство. Тут все чертежи, схемы, телефоны, фамилии и мои адреса тоже, меня легко найдут. Поймите, я не прошу сейчас денег, я прошу, чтобы мне поверили...

— О нет, я ничего не буду брать.— «Кэтрин» отступила, прижала к себе сумочку.— Здесь ошибка, я ничего не буду брать.

По лицу Прохорова пробежала судорога.

— Хорошо.— Он быстро достал из кармана чистую почтовую открытку, на которой был отпечатан ядовито-красный букет цветов. Разорвал пополам.— Если вы или кто-нибудь другой захочет меня увидеть, он должен прийти вот с этим.— Анатолий быстро сунул в руку «Кэтрин» половинку открытки, вторую половинку положил к себе в карман, резко повернулся, быстро зашагал по улице Горького к Белорусскому вокзалу.

Еще и еще перечитывал Рошин рапорт «Кэтрин». Они оказались правы. Прохоров «созрел». Если он, очень осторожный человек, первой встречной иностранке готов передать секретные сведения,— значит, он враг. Передал он эти сведения или нет, он шпион. Рошин открыл книгу — «Комментарии УК РСФСР», жирно подчеркнул в статье 64: «Шпионаж заключается... в собирании с целью передачи иностранному государству, иностранной организации либо их агентуре сведений, составляющих государственную или военную тайну...»

Зазвонил телефон. Рошин снял трубку.

— Николай Петрович, здравствуйте.— Он сразу узнал голос Валентины Андреевны Красовской.— Вы просили сообщить, если тете позвонят по нашему телефону...

— Да, да.— Рошин не мог скрыть волнения.

— Сегодня звонили, просили записать для нее: К 9-18-40. И больше ничего...

— Спасибо, большое спасибо, Валентина Андреевна.— Голос Рошина звенел.— Привет Александру Ильичу... Еще раз спасибо.

Через десять минут он уже знал: телефон с номером

К 9-18-40 стоит на улице Горького в доме № 22 — гостиница «Минск», номер 840. Еще через десять минут он узнал, что в номере 840 со вчерашнего дня остановился синьор Марио Гоцци, совершающий путешествие по туру, приобретенному в Миланском отделении «Интуриста». Синьор Гоцци должен пробыть в Москве неделю, а затем вылететь в Париж.

Еще через десять минут Рощин входил в кабинет Воронцова. И, наконец, еще через десять минут Воронцов был принят одним из заместителей председателя Комитета государственной безопасности.

Самолет садится по техническим причинам

Любовь Дмитриевна вошла в комнату со сковородкой, на которой с шипением плавилась глазунья, поставила сковородку на стол и только тут увидела зеленовато поблескивающую поллитровку.

— Опять? — строго спросила она сына. Валерий с Анатолием сидели на диване, шептались.

— Поговорить надо, — бросил Валерий.

— А без водки нельзя?

— Сегодня нельзя. — Валерий встал, забренчал в шкафу рюмками.

— Да, Толя, — обернулась Любовь Дмитриевна, — совсем было запамятовала. Помните, вы говорили, что вам позвонить товарищ должен, у которого телефон меняли? Так он звонил позавчера. Куда же я эту бумажку сунула? — Она рылась в сумочке...

С тонким звоном ударилась об пол рюмка. Любовь Дмитриевна обернулась, сын стоял бледный, не отрывая взгляда от Анатолия.

— Ничего, — хрипло сказал Прохоров, — посуду бить на счастье... Так какой же номер телефона теперь у моего приятеля?

— Вот, нашла. — Любовь Дмитриевна протянула Анатолию клочок бумаги.

— К 9-18-40,— вслух прочитал Прохоров.

Теперь Анатолию все стало ясно. «Парфюмерная дама» — это пробный шар. Перед тем как начать с ним работу, решили проверить, стоит ли начинать. Видно, поняли наконец, что стоит, с этого дня начинается главное...

Он позвонил из автомата.

— Алло? — вопросительно спросил немолодой мужской голос.

— Говорит Николай.— Анатолий сглотнул слюну.— Вы звонили, оставили свой телефон.

— Да, да.— И после паузы: — Что вы хотите?

— Я хотел бы встретиться с вами. Вы можете подойти к памятнику Пушкина через пятнадцать минут?

— Да. Могу.

— О'кэй! — ответил Прохоров. Английским словечком невольно хотел расположить к себе, польстить новому знакомому.

— Будьте здоровы,— сухо парировал синьор Марио.

...Уже не было времени путать следы и перепроверяться: опаздывал. Гоцци ждал его. Он оказался полным, подвижным брюнетом, в очках с тонкой золотой оправой.

— Добрый день.— Прохоров улыбнулся.— Рад познакомиться.— Он протянул было руку, но Гоцци взглянул так, что вся непринужденность Анатолия мигом испарилась.

— Пройдемте немного,— предложил Гоцци. Пошли мимо фонтана к кинотеатру «Россия».

— Открытка у вас с собой? — тихо спросил Прохоров, стараясь подделаться под строгую деловитость своего собеседника.

— Какая открытка? — Цепкий взгляд скользнул по лицу Анатолия.

— Я передал одному из ваших друзей половину почтовой открытки для связи.

— Вы прубо работаете, Николай. Никакой открытки у меня нет, никаких «друзей» я не знаю.

Прохоров задумался на секунду.

— Хорошо. У меня все с собой. Как вам удобнее передать? Мне кажется, за нами не следят...

— Меня не интересует ни то, что вам кажется, ни, тем более, то, что вы собираетесь мне передать. Я не уполномочен ничего у вас брать. Всякая связь должна быть бесконтактной. Пора знать, что в КГБ работают не пионеры.

— Я думал об этом,— перебил Анатолий,— можно купить багажный ящик на вокзале. Он запирается на замок с шифром.

— Хорошо. Это удобно. Выберите вокзал помноголюднее. Номер секции и ящика сообщите мне по телефону, только осторожнее, разумеется. А сейчас прощайте.— И он легко толкнул стеклянную дверь касс кинотеатра и на глазах у Анатолия растаял в толпе людей...

Новый знакомый не понравился Прохорову. «Разговаривает так, словно я у него на службе,— подумал он,— впрочем, так оно и есть... Но что делать, я не волен выбирать себе друзей. Хорошо, что хоть такие есть... Но почему он не предъявил условной открытки? Может быть, этот тип вовсе не от Склайтона? Но тогда откуда он знает телефон и Любовь Дмитриевну? Ведь, кроме меня самого и Склайтона, об этом договоре никто не знает. Шаболин не в счет. Он у меня в руках... Все это так, но не мешало бы при случае проверить очкастого».

На Казанском вокзале в зале № 2 он арендовал багажный ящик. Секция 24, дверца № 242. Положил коробку конфет «Колос». Под конфетами, под тонким пергаментом—письмо. В письме все, что имел, и код на будущую связь. Надежно, незаметно, все чисто—дальше некуда. Он немного успокоился.

В тот же вечер позвонил в «Минск»:

— Добрый вечер, это Николай.

— Да, я слушаю вас.

— Я уезжаю с Казанского вокзала в 24 часа, поезд 242, место 21 и 22. 21 и 22 вместе, вы понимаете?

— Да, я понимаю.

— Вы приедете меня проводить?

— Не беспокойтесь. Если я не смогу, я попрошу проводить вас одного знакомого. Когда я улечу, он будет вас навещать.

— А когда вы летите?

— Завтра из Шереметьева.

— А куда?

— В Париж. Но меня провожать не надо.

— А как зовут вашего знакомого?

— О, пусть это будет маленький сюрприз.— В трубке послышался смех.— Желаю вам всего хорошего.

Ровным строем пошли гудки...

«Играют в прятки, — думал Прохоров,— что еще за знакомый? И почему его не надо провожать? Значит, он не хочет, чтобы я был на аэродроме. Почему? Надо съездить...»

На следующий день он отправился в Шереметьево за два часа до отлета парижского рейса. Пил черный кофе, осматривал аэровокзал. Новый его знакомый приехал на такси. Короткие формальности у окошка. Вот он подходит к пограничнику, протягивает паспорт...

«А вдруг его сейчас сцапают»,—мелькнуло в голове Анатолия. Пограничник рассматривает документы. Улыбнулся. Вернул. Иностранец зашагал к самолету. Анатолий, прыгая со ступеньки на ступеньку, помчался наверх, на террасу, откуда было видно все поле аэродрома. Он видел, как очкастый сел в маленький кар, похожий на вагончик детской железной дороги. Вагончик тронулся, пополз к самолету. Вот он поднимается по трапу, вошел... Прохоров стоял, долго не спуская глаз с овальной дверцы «ИЛа». Наконец дверца захлопнулась, трап отъехал. Он ушел с террасы, когда лайнер, окончив свой разбег, тяжело оторвался и, задирая вверх нос, потянул к облакам...

— Где садится парижский самолет? — спросил он хорошенькую девушку в серой форме ГВФ.

— Парижский?! О, у него нет посадок. Теперь он приземлится только в Ле-Бурже.— Девушка ослепительно улыбнулась.

— Хочешь посмотреть, как шпионы работают с тайниками? — спросил Роцин, стараясь не улыбаться при виде восторженного согласия, написанного на моем лице.— Поехали.

Машина остановилась у подъезда гостиницы «Ленинградская».

— Смотри, через пять минут из гостиницы выйдет

один тип. Запомни его, посмотришь потом, как он будет работать,—сообщил Рошин.

«Тип» появился ровно через пять минут. Молодой, идеально причесанный человек, в роговых очках. Отличный костюм. Отличная фигура. Он шел, не торопясь, покачивая портфелем в руке. Подошел к ателье мод, долго рассматривал что-то в витрине.

— Что там на самом деле, он не видит,—комментировал Рошин,—смотрит в стекло. Витрина темнее, и в стекле отражается все, что делается за его спиной. Это он перепроверяется, смотрит, нет ли за ним «хвоста».

Наконец очкастый отошел от витрины, зашагал к Казанскому вокзалу.

— Успокоился,—сказал Рошин и, тронув за плечо шофера нашей «Волги», попросил:—К вокзалу, пожалуйста.

Пока петляли в невидимом лабиринте, созданном запрещающими и предписывающими знаками изошренного московского ОРУДа, Рошин наставлял меня:

— Войдешь в вокзал — сразу налево. Зал № 2. Справа по всей стенке ящики. Секция 24, ящик 242. Пойди посмотри, только осторожно, не глазей на него. Будем ждать тебя вон там, у перехода...

Молодой человек с портфелем шел чуть впереди меня. Свернул в зал № 2. Я задержался у газетного киоска. Купил журнал, пошел за ним. В зале много народу. Едят, сидят, читают, бегают ребятишки. Один мальчишка упустил шарик, и шарик поплыл вверх, к высоким сводам зала. Молодой человек уже открыл 242-й ящик, заглянул внутрь. Вытащил коробку конфет, положил в портфель. Долго возился, низко нагнувшись над потайным замком... Я вышел на площадь, сел в машину. Мы приехали к зданию ЦДКЖ, свернули направо, потом налево и остановились в конце маленькой пустынной улочки, по одну сторону которой громоздились железнодорожные склады.

— Вот смотри, сейчас он вынырнет из-за угла и пойдет по этой улочке,—сказал Рошин.

— А он не заметит нас? — спросил я.

Стюардесса парижского самолета вошла в салон.

— Товарищи, дамы и господа! По техническим причинам наш самолет сделает посадку в Риге. Вы можете погулять, только просьба не уходить далеко: мы вылетаем через десять минут.

Несколько пассажиров захотели немного размяться. Синьор Марио Гоцци тоже вышел на воздух. Он прошел к зданию аэропорта и, поравнявшись с «Волгой», стоявшей прямо на поле, сел в автомобиль. В тот же момент машина резко взяла с места.

— Устали, товарищ майор? — спросил сидевший рядом с шофером мужчина в форме капитана госбезопасности.

— Если откровенно, — улыбнулся «Марио Гоцци», — очень устал.

— Ну теперь отдохнете. И уже не в «Минске», а дома.

— А что, в номере 840 отеля «Минск» было очень неплохо, — засмеялся «Гоцци». — Там можно отдыхать. Вот Марио действительно отдых был испорчен. Он очень волновался, когда в связи с ремонтом его перевели в другой номер, пробовал еще раз звонить Красовским, но у Александра Ильича, к сожалению, сменился номер телефона...

Человек с портфелем быстро обернулся на углу и пошел прямо к нам. Рошин открыл заднюю дверцу «Волги». Человек с портфелем вскочил в нашу машину, снял очки и, глубоко вздохнув, сказал:

— Все в порядке. Поехали.

Рошин обернулся ко мне.

— Знакомьтесь: капитан Покровский.

Капитан поправил английский галстук, улыбнулся, протянул руку:

— Женя. Мне о вас говорили. Ну, Саша, кажется, все чисто...

Рошин хохотал до слез.

Сеанс немого кино

Сегодняшний мой рабочий день в КГБ начался неожиданно: с просмотра кинофильма. В старинном

зале проектор стрекотал громко, как цикада. На маленьком экране—улица. Сразу узнал: 2-я Тверская-Ямская,—я живу неподалеку. Объектив аппарата выбрал из ряда домов один, ничем не примечательный, прошелся по фасаду, остановился напротив дверей подъезда. И, словно он ждал этого, словно это отрепетированный эпизод, пятый дубль сердитого режиссера, из подъезда вышел Прохоров. Оглядывается вправо, влево, воровато, через плечо. Пошел. Вышел на улицу Горького. Ловит такси. Вот сел. Не рядом с шофером, а сзади, и сразу оглянулся: не следят ли? Такси нырнуло в автомобильный поток, но объектив не потерял его, держал на невидимой привязи своего взгляда.

Комсомольская площадь. Прохоров повторяет путь, который прошли мы вчера с капитаном Покровским. Он нервничает. Подходит к своему тайнику не сразу, ждет и все время быстро и цепко оглядывается вокруг. Вот он смотрит с экрана прямо нам в глаза: съемка велась в упор.

— Черт возьми, как же это снимали? — шепчу я в ухо Рошину.

— Почти так же, как снимает Урусевский на «Мосфильме», — шепчет в ответ Александр Петрович.

— Нет, без шуток. Где же запрятали камеру? — не унимаюсь я.

— Если дело происходит на вокзале, как лучше всего, по-твоему, замаскировать камеру: в стоге сена или в дупле? — не без сарказма спрашивает Рошин.

— В чемодане. Или в корзинке какой-нибудь, — додумываюсь я.

— Молодец, — шепотом смеется Рошин, — могучий ум...

Я понимаю, что весь этот диалог напоминает типичную беседу Шерлока Холмса с доктором Ватсоном (кстати, никогда не мог понять, почему такой прозорливый человек, как Шерлок Холмс, выбрал себе в друзья такого непроходимого тупицу, как Ватсон).

А Прохоров на экране уже рядом с ящиком № 242. Маленький мальчишка с нескрываемым любопытством подошел, разглядывает, как Анатолий Яковлевич набирает шифр на замке: 2122.

— Ваш работник? — шепчу Рошину. Очень хочется отомстить за сено и дупло.

— Наш. Майор Пронин, заgrimированный под октябренька. Так и напиши. Чтобы все было, как в заправдашнем детективном романе...

Прохоров открыл сейф. И опять стрельнул глазами вокруг. Видно, что все его раздражает: и глазающий мальчишка, и уборщица, которая вытирает пол, и пассажиры на скамейке. Люди — это страшно для него.

А люди и внимания не обращают. Дремлют, жуют, читают, разговаривают. Прохоров заложил в тайчик письмо. На этот раз уже не в конфеты — в томик «Евгения Онегина».

Потом, когда я держал в руках этот томик, почему-то почувствовал злость к этому негодю, так остро, как никогда. Не только нас, но и предков наших он предал, Пушкина запачкал.

Чекисты «передают» Прохорова с объектива на объектив. Вот он вышел на площадь, спустился в пешеходный тоннель. Вот у Ярославского вокзала вышел на перрон, подошел к поезду. Остановился, полез в задний карман. Достал бумажник, вынул билет, протягивает проводнику. Закурил жадно, торопливо. Вскакивает в тамбур. Проводник поднял свернутый в трубку флажок. Еще раз, последний раз мелькнуло лицо Прохорова в тамбуре. Все.

В зале вспыхнул свет.

— Куда же это он покатыл? — спросил я Рошина.

— Повестку прислал ему райвоенкомат, — пояснил Александр Петрович. — На сборы военные покатыл в Ярославль... Ты тоже собирайся: надо нам с тобой в Ригу съездить на пару дней...

Призыв Прохорова на переподготовку не только не помешал, но даже в какой-то степени облегчил работу контрразведчиков.

— Итак, давайте подведем итоги, — предложил Воронцов на очередном оперативном совещании. — Прохоров собирал, хранил и делал все от него зависящее для

того, чтобы передать зарубежной разведке сведения, составляющие государственную и военную тайну. Предлагаю возбудить уголовное дело, и пусть следователи начинают работать. Время, которое Прохоров проведет на сборах, можно использовать для работы со свидетелями...

Начать было решено с Бочарова, прибалтийского друга, священника. Рошин и я поехали в Ригу.

...Батюшка полноват, румян. Черные, маслено поблескивающие глазки глядят живо и с умом. Да, конечно, он не только расскажет все, он готов сделать официальное заявление. Письма? Да, были письма, он напишет обо всем, что ему известно... Пухлые руки батюшки спокойно теребят сукно на столе. Он рассказывает подробно, с деталями; когда следователь переспрашивает, кивает убежденно, с охотой, стараясь всем видом показать свою готовность к абсолютной откровенности. А скрывать ему действительно было нечего: он не мог открыть чекистам никакой америки, все америки были уже открыты. Нужно было только, чтобы он подтвердил это. И он подтвердил...

Через несколько дней мы были в Орске.

— Кузнецов — орешек покрепче, — говорил Рошин. — У него должны быть письма Прохорова, и письма весьма красноречивые. Именно поэтому прокурор дал санкцию на обыск квартиры Кузнецова. Одного допроса здесь мало.

Мы сидим втроем в номере гостиницы: Рошин, следователь Михаил Сергеевич Нахимов и я. Едим колбасу с хлебом и пьем чай.

— Вот в чем беда, — продолжает Рошин, — у Кузнецова дочка, девочка, ходит во 2-й класс. Как же при ней обыск делать? — Он обернулся к Нахимову. — Ведь запомнит она это. Шутка ли: у отца обыск! Это же запомнится на всю жизнь...

Помолчали.

— Миша, у тебя есть дети? — спросил Рошин.

— Есть...

— У меня двое. Вот дочка тоже... В институт поступает. Не знаю, попадет ли... Мы с женой прямо измучились...

— А моя еще пеленки пачкает,— улыбнулся Нахимов.

— Это ерунда... Если бы моя пеленки пачкала — и забот никаких...

Опять помолчали...

— Миша,— снова спросил Рошин,— что же нам делать с девочкой, Миша? Надо что-то придумать...

— Хорошо бы попросить жену Кузнецова куда-нибудь сходить с ней на время.— Нахимов оставил колбасу.— Ну, к бабушке, что ли... Часа на три...

Не люблю «розовых» героев. Не хочу идеализировать этих людей. Но я слышал этот разговор сам. Он был! Честное слово, два офицера госбезопасности накануне трудного, сложного допроса и обыска говорили об этой девочке.

Помню, школьником я проходил по площади Дзержинского мимо серого гранита гигантского дома, и как-то сжималось сердце при взгляде на барьер, окружавший его, при виде часовых с непроницаемо-холодными лицами, их тускло блестевших штыков. Они охраняли безопасность моей страны, отчего же тогда эта немалочисленная робость, это желание говорить тише и идти незаметнее? И вот я в этом доме. За три месяца работы с чекистами я понял многое. Долго и откровенно говорили о прошлом и настоящем наших органов, о ломке старых, порочных концепций и методов, о возрождении истинно чекистских норм работы, заложенных Феликсом Эдмундовичем Дзержинским.

И дело не только в том, что обновлены кадры чекистов, что пришел сюда новый, молодой народ, воспитанный школой, вузами, комсомолом, партией, всей жизнью нашей, народ, для которого XX съезд партии стал высшим выражением собственных мыслей, выражением глубоко личного, с болью пережитого. Не только в смене кадров дело. Произошла сложнейшая и тончайшая, не всегда безболезненная, но всегда неотвратимая переделка психологии людей.

Один из руководителей наших органов госбезопасности сказал мне: «Было время, когда считали: чем больше людей арестует чекист, тем лучше он работает... А сейчас каждый арест заставляет задуматься: значит, проглядели, не остановили вовремя, не уберегли от дурного,

враждебного влияния...» Но ведь, чтобы сказать так, чтобы именно так было не на словах, а на деле, потребовалась великая вера и мужество коммунистов, глубочайшее сознание необходимости всеочищающей психологической ломки.

Кузнецов отрицал все: ничего не знаю, ни о чем не слышал.

— Я был в лагерях, — говорил он, — я не хочу попасть туда снова... Да, боюсь, очень боюсь... Я вас знаю...

От Нахимова требовалось почти невозможное: переубедить взрослого, трудного и озлобленного человека, поломать его старый и порочный принцип: передо мной — враги.

— Почему вы говорите о лагере? — спросил Нахимов. — Не о лагере сейчас речь и не о страхе. Речь о жизни идет, поймите. У вас дом, любимая работа, жена, дочка. Почему вы считаете, что мы хотим посадить вас за решетку? Кому и зачем надо это? Разве нам, всем нам, всему народу нужно множить число врагов? Подумайте об этом. Поймите наши интересы. Если вы честный человек и патриот, эти интересы не могут не быть и вашими...

Три часа сложного и трудного разговора. Три часа и годы темной жизни схлестнулись в невидимом поединке. Кузнецов молчит. Я вижу его глаза, вижу, как волчья затравленность его взгляда сменяется доброй человечьей задумчивостью.

— Хорошо, — быстро говорит он. — Хорошо. Поверю вам. Первый раз поверю. Знаю, что дурак, но поверю. Дайте бумагу, я все напишу сам.

Есть блатной термин «раскололся», то есть признался. Кузнецов не «раскололся». Его не припирали к стенке фактами и уликами, не показывали документов, изобличающих его связь с Прохоровым. Не было этого. С ним просто говорили. Его признание — не вынужденная капитуляция, он понял: жить дальше так, как он жил, нельзя...

Обыск начали в 2 часа дня: в это время дочка Кузнецова уходит в школу. Кстати, одно письмо Прохорова нашли в платицах Катеньки — куклы с льняными воло-

сами, самой любимой, потому что она умела закрывать глаза...

В Москве самым жалким на допросе был Шабалин. Дерганый, всклокоченный, он совсем потерялся от страха. Он все время улыбался, но улыбался так, что казалось: вот-вот заплачет.

— Я все расскажу, все, до самых мелочей. Да, он выкрал у меня блокнот...— тихо, почти шепотом, говорит Валерий, — хотел продать... Потом вместе предлагал уехать за границу.

— Как уехать? — спросил Нахимов.

— Ну, убежать... Он все требовал, чтобы я еще что-нибудь интересное рассказал.. Ну, по работе... Записывал все. «Это, — говорит, — вторая посылка будет...» Все это ужасно, гражданин следовательно, это ужасно...

— Где эти записи?

— Он говорил, «в надежном месте»... Это значит у Софьи Алексеевны...

— У Толчинской?

— Да, в Телеграфном переулке...

Через час Софья Алексеевна Толчинская вошла в кабинет следователя.

Дорога через ночь

После беседы у следователя вместе с Софьей Алексеевной поехали к ней на квартиру: нужно было найти последний тайник шпиона.

— Я все скажу! С любой колокольни могу прокричать: да, бывал, ел, пил, на гитаре играл... Мне скрывать нечего, я ничего плохого не делала.—Софья Алексеевна возбуждена без меры. Ее лицо покраснелось, она оглядывается на следователя, на меня, на двух соседок по квартире, приглашенных на обыск в качестве понятых,— ищет нашего сочувствия.

— Успокойтесь, Софья Алексеевна, — мягко говорит Рошин, усаживая старую женщину в кресло, — мы зна-

ем, что вы не делали ничего плохого. Но Анатолий Яковлевич бывал у вас и, по нашим сведениям, мог хранить в вашей комнате некоторые очень интересующие нас бумаги.

— Да! Есть! — снова вскакивает Софья Алексеевна. — Есть! Вот папка с его нотами...

В папке только ноты. Романсы. «Ты в офицерской шинели скоро придешь ко мне», — прочитал я и невольно улыбнулся: действительно ведь скоро придут к нему именно в офицерской шинели...

Только ноты, и ничего больше.

— Ну, что же, — сказал Рощин Толчинской, осмотрев папку, — вы уж извините нас, но все-таки придется поискать.

— Пожалуйста! — с готовностью откликнулась Софья Алексеевна. — Если хотите, я вам помогу.

— Спасибо, — улыбнулся Рощин, — мы уж сами...

В бесконечном разнообразии человеческих жилищ четко угадывается категория комнат, заставленных и завешенных абсолютно ненужными вещами. Единственный ответ на вопрос, почему эти вещи не выбрасывают, таков: «Как же их выбросить, если они тут уж двадцать лет». Какие-то кедровые шишки, заросшие пылью, серые камешки с пляжа, привезенные из Гурзуфа в 1927 году; баночки и пузырьки с желтизной на донышке из-под чего-то, давно израсходованного; обглоданные временем статуэтки, недобитые чашки, замки без ключей и ключи без замков, пакетики с шурупчиками, которые никак нельзя потерять, но от чего шурупчики — все забыли; перегоревший электрический утюг, о котором уже 10 лет говорят: «Надо бы его починить»; пробочки, пуговички, какие-то древние счета, квитанции, чеки — всего не перечислишь. Именно к такой категории комнат и относилась комната Софьи Алексеевны. Найти здесь несколько листов бумаги было трудом геркулесовым.

Рощин перелистал все книги, кипы старых, пожелтевших газет, осмотрел бесчисленные шкафчики, этажерочки и полочки — ничего. В коридоре шумел сосед — муж одной из понятых, который пролил на себя суп, орудуя вместо жены на кухне. Усталая Софья Алексеевна убеждала всех, что «у Толи не было от нее абсолютно

никаких секретов» и все наши старания ни к чему не приведут. Я подумывал уже, что Шаболин что-то напутал в своих показаниях, и вот тут-то Рощин нашел портфель.

Портфель как портфель. Потрепанный, черный, с двумя замками. В портфеле были ноты, несколько газет, карандаши. Все. Рощин встряхнул портфель, перевернул, потряс. Пыль. Крошки. Он пошарил внутри рукой и нащупал надрез в подкладке. Просунул руку дальше и вытащил маленький пакетик. Несколько мелко исписанных листков легло на стол.

— Ну вот, видите. Это уже не музыкальный словарь, — улыбнулся Рощин Софье Алексеевне. Он протянул листки понятым.

— Да ведь это шифр! — в ужасе сказала одна из женщин. Она держала бумаги кончиками пальцев, словно это были листья ядовитого растения...

Обыск продолжался...

— Сегодня «Спартак», кажется, не играет, — сказал Воронцов, — поэтому я надеюсь, что Борис Маркович не будет посматривать на часы и мы сможем обсудить все не торопясь. Пора итоги подводить...

— «Спартак» как раз играет, но в Тбилиси, — встретился Куприн, — и именно это обстоятельство сыграет для Анатолия Яковлевича роковую роль.

— Я думаю, что говорить надо не только и даже не столько о Прохорове, — сказал Воронцов, — сколько о Кузнецове, Иноземцеве, Шаболине. До тех пор, пока рядом с ними Прохоров, они будут катиться вниз. Ну пусть не катиться, а сползать.

— Уж куда дальше сползать, — возразил Куприн. — Человек работает на оборонном предприятии, и мало того, что он совершенно халатно относится к элементарным правилам работы с секретными документами, он сознательно передает их в руки врага. Не мог не знать Шаболин, что Прохоров хочет запродать полученные от него сведения! Как хотите, но я в это никогда не поверю!

— И все-таки, — Воронцов начал не торопясь, — и все-таки, кто такой Шаболин? Парню 26 лет. Рос без

отца. Это для мальчишки очень важно — отец... Окончил советскую школу, советский вуз. Как из него мог получиться враг? Кузнецов тоже, видно, в лагере немало передумал. Сейчас работает... Жена, дочь... Вы говорите «никогда не поверю». Это все эмоции. Не в интуиции дело. Влезть надо в душу человека, посмотреть, насколько она больна, эта душа, можно ли ее вылечить. И давайте не торопиться с выводами, пройдет следствие — мы получим полную картину всего, что было. Определим точно меру их причастности к этому делу. И тогда уж — верь не верь — закон будет решать, насколько, в какой мере виновны Шаболин, Иноземцев и Кузнецов, Сбить их с ног, ей-богу, дело нехитрое... Труднее не дать упасть.

— Правильно, — согласился Козин, — не верю, чтобы они уже были потерянными для нас людьми...

— Вспомните, — продолжал Воронцов, — мало ли было случаев, когда люди, на первый взгляд именно потерянные, буквально возрождались. Вызывали, говорили, и не раз, не два, ездили на работу, советовались и с домашними, и с друзьями, с комсомолом, с партийными организациями — и менялся человек. Не сразу, вначале с предубеждением, осторожно, но прозревал, понимал: хотят помочь, а не в тюрьму упрятать...

Говорили долго, но о Прохорове — ни слова.

Куприн наконец не выдержал:

— А как же с Прохоровым, Александр Николаевич?

— Я запросил Ярославль, — сказал Воронцов. — Прохоров рвется в Москву, утверждает, что тяжело болен, требует медицинского обследования. Его положили сейчас в госпиталь, но я убежден, что это явная симуляция. Просто он боится потерять свои тайники, с такими трудами организованную связь... — Он помолчал, а затем добавил: — Вчера я был у заместителя главного военного прокурора. Получена санкция на арест Прохорова.

Специальная оперативная «Волга» шла ровно, с легким свистом — 150 километров в час. Куприн с

шофером — впереди, мы с Рошиным — сзади. Звонкий, сухой осенний лес летел за окнами машины.

— О чем ты думаешь, Александр Петрович? — тихо спросил я.

— Да все о нем я думаю, — обернулся Рошин. — И о себе. Мы ведь одноклассники. Я тоже в сороковом в армию ушел, во флот. Он у экзарха в Риге сидел... Я попал на Северный флот... Там меня и ранили... Подожди, я тебе как-нибудь расскажу о Севере. Вот это повесть! Не повесть — поэму писать надо о наших ребятах! Потом в комсомоле работал. Это, наверное, лучшее мое время было. А потом, когда стал чекистом, опять с моряками. Знаешь, сколько у меня друзей на Балтике? Не забывают... Ты понимаешь, как это приятно, когда тебя не забывают?.. И все-таки ужасно несправедливо, что мне уже сорок два...

Солнцем на дивных куполах своих чудо-церквей встретил нас Ростов Великий. Высокое ярко-голубое небо, какое даже не каждой весной бывает, кружило голову. Мы пообедали в маленькой столовой. Куприн заготовил бутерброды на обратный путь.

— Много, — протестовал Рошин, — не съедим.

— Не много, — сказал Куприн. — Ты учти: это на пятнадцать...

В Ярославль приехали уже под вечер. В областном управлении КГБ к нам присоединились два следователя. Обсудили план ареста. Прохоров находится в госпитальной палате вместе с другими больными. Объявлять ему об аресте там не очень удобно — начнутся кривотолки: ведь он всем рассказывает, какой он больной, требует, чтобы его в Москву к профессорам-специалистам отправили. Было решено, что Куприн пройдет в палату под видом врача, скажет Прохорову, что его решено отправить в Москву, а заодно проконтролирует, не оставит ли что-нибудь Прохоров в тумбочке: вполне возможно, что некоторые записи он держит при себе постоянно, не доверяясь никаким тайникам.

Куприн разыграл роль врача, как профессиональный артист. Он не сразу подошел к Прохорову, поговорил с больными, одному пощупал живот, другому велел показать язык, бормотал какую-то латынь и делал пометки в блокноте.

— Прохоров? Так, так...— Он остановился перед худощавым скуластым человеком. Черные волосы — назад. Цепкие глаза. Совершенно спокоен.— В Москву поедете, Прохоров. Кончилась ваша служба. Неважный у вас анализ, неважный,— соврал Куприн,— лечить вас надо...

Через пятнадцать минут Прохоров, с трудом скрывающий свою радость оттого, что обман его так блистательно удался, уже спускался по лестнице с чемоданчиком в руках.

— Анатолий Яковлевич, — Куприн тронул его за рукав, — на минуту зайдите сюда, пожалуйста.— Куприн открыл дверь дежурки. Прохоров вошел. Метнул взгляд на синий кант погонов майора-следователя.

— Вы Прохоров Анатолий Яковлевич? — спросил майор.

— Да, а в чем дело?

— Будьте любезны, ваши документы.

Прохоров протянул паспорт.

— Прохоров Анатолий Яковлевич, 1922 года рождения, — вслух прочитал майор.— Все точно, — сказал он Рошину.

Рошин смотрел на Прохорова. Уже год день и ночь он думал об этом человеке. Год он говорил с ним, спорил, переубеждал, изучал, надеялся и обманывался в своих надеждах, вживался в его психологию, думал его мыслями и, наконец, объявил ему войну. Уже год шла их невидимая дуэль. Сейчас он впервые увидел его.

— Согласно санкции заместителя главного военного прокурора, вы арестованы и обвиняетесь по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР, — сказал майор.

— Что? Что такое? — спросил удивленно Прохоров.— Что это за статья?

— Измена Родине.— Майор протянул ему постановление.— Прочтите и распишитесь.

Лицо было совершенно спокойно, только руки изменили ему. Лист бумаги мелко вздрагивал, словно человек читал его в вагоне идущего поезда.

— Это недоразумение, — глухо сказал Прохоров, — это какая-то ошибка...

— Мы разберемся, — тихо сказал Рошин, стоящий за его спиной.

Прохоров обернулся. Их взгляды встретились.

...Было уже совсем темно. Прохоров сидел в машине между Рошиным и мной. Он молчал и все смотрел вперед, дальше мутно-серой дороги, дальше света фар, в ночь.

В целях конспирации оперативные работники контрразведки дали Прохорову псевдоним «Иезуит». Этот псевдоним родился случайно, но, мне кажется, оказался удивительно точным. В ночь на 2 октября 1964 года «Иезуита» не стало. Появился подследственный Анатолий Прохоров.

Сентябрь — ноябрь 1964 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Тайное общество	3
Послушник экзарха	8
Чужие погоны	13
Париж — Печора — Москва	19
Ценитель иностранной графики	23
Загадка Л. Д.	29
Проблема № 1	34
Рождение Кэтрин Кэтуэй	39
Самолет садится по техническим причинам	45
Сеанс немого кино	50
Дорога через ночь	56

ПАДЕНИЕ «ИЗУИТА»

· Я. ГОЛОВАНОВ.

Редантор Ю. Воронов.

Художник Г. Оганов.

**Технический редактор
С. Суровцева.**

Б 02318. Подп. к печ. 20/II 1965 г.
Тираж 300 000 экз. Изд. № 393.
Заказ № 504. Объем — 2 физ.
печ. л. 84×108¹/₃₂. 3,28 услов.-
печатн. лист. 3,25. учетно-издат.
лист. Цена 9 коп.

Ордена Ленина типография га-
зеты «Правда» имени В. И. Ле-
нина, Москва, ул. «Правды», 24.

OCR: Угленко Александр

К сведению читателей

Подписку на газету

**КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА**

можно оформить на любые сроки во всех пунктах подписки «Союзпечать» и в отделениях связи.

Подписная цена: на 9 месяцев — 4 руб. 50 коп., на 6 месяцев — 3 рубля, на 3 месяца — 1 руб. 50 коп.

Принимается подписка
на Библиотеку «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ».

Книги «Библиотеки» выходят ежемесячно.

Подписная цена: на 9 месяцев — 90 коп., на 6 месяцев — 60 коп., на 3 месяца — 30 коп.